

F6  
K 139

А. П. НАНДАН  
КНИГА  
И ПИСАТЕЛЬ  
В ВИЗАНТИИ

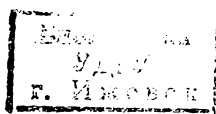


ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА



А. П. КАЖДАН

# КНИГА И ПИСАТЕЛЬ В ВИЗАНТИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1973

А. П. Каждан — доктор исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории АН СССР, автор ряда книг по истории религии и истории Византии. Издательством «Наука» были выпущены его монографии: «Аграрные отношения в Византии XIII—XIV вв.» (1952 г.), «Деревня и город в Византии IX—X вв.» (1960 г.), «Византийская культура (X—XII вв.)» (1968 г.). В новой работе, как бы примыкающей к «Византийской культуре», автор рассказывает о таком важнейшем элементе византийской цивилизации, как книга, о том, как делали книгу и как ее хранили, о том, как учились писать в школе, и о том, как творил византийский писатель. Читатель узнает о византийской средневековой книге, византийской науке и византийской литературе.

Ранним утром 29 мая 1453 г. турки ворвались в Константинополь. И хотя город давно уже находился в осаде, все-таки никто не ждал, что стены не выдержат и защитники отступят. Ранним утром, когда девушки еще спали в темных покоях, турки ворвались в город; ранним утром, когда благочестивые мужчины и женщины молились у гробницы мученицы Феодосии, Константинополь пал. Гибли воины — греки и итальянцы; император Константин XI Палеолог пал в сражении. Те, кто уцелел, разбегались по домам, но там уже заставляли турецких янычар, вязавших пленниц, убивавших стариков, выбрасывавших на улицу младенцев.

Ранним утром 29 мая 1453 г. турки ворвались в Константинополь. А днем в город уже вступил султан Мехмед II. Византийская империя, некогда могущественнейшее государство Средиземноморья, перестала существовать.

С тех пор прошли столетия. Новыми зданиями застроены территории византийских городов. Разрушены старые церкви и дворцы, выветрились и развалились крепостные стены. Не только кости византийцев истлели, — казалось бы, истлела, развеялась в прах, растворилась во времени созданная ими цивилизация. Нет византийских василевсов — надменных императоров, восседавших на троне, который под мерное пение механических птиц возносился к самому потолку дворцовой приемной залы. Нет византийских монахов, презревших земные удобства и искавших жизни вечной на площадке высокого столпа или в сырой темноте наглухо забитой кельи. Нет их, но нет и приемных зал, и высоченных столпов, и келий-одиночек. Считанные иконы, глиняные вазы, серебряные кубки, украшенные драгоценными камнями, несколько пролетов константинопольского водопровода — что еще со-

хранило нам время от тысячелетней истории Византийской империи? И как нам восстановить тысячелетнюю эту историю по иконам и по кубкам, склеенным из фрагментов в археологических лабораториях?

Но время не так безжалостно, как это на первый взгляд кажется. Время сохраняет не одни только вещи и обломки вещей, время сохраняет голос безвозвратно ушедшего прошлого. Время сохраняет книги. Не было бы книг, и мы не узнали бы ничего или почти ничего о людях, создавших Византийскую империю и страдавших от нее, о ее государях и подданных, о страстях, кипевших на улицах ее столицы, о выигранных и проигранных битвах. Тот, кто хочет услышать голос прошлого, обращается прежде всего к древней книге.

## ОТ ПАПИРУСА ДО БУКВЫ

Писать можно на самом различном материале. Цари и завоеватели, рассчитывавшие на вечную славу, предпочитали бронзу и мрамор; их хвастливые надписи вырезали резчики для напоминания потомкам о «великих деяниях». Новгородские горожане писали записочки на бересте; они не думали в тот момент о вечности, однако иные торжественные надписи разбиты, потеряны, уцелели в жалких фрагментах, а от новгородских берестяных писем осталось не так уж мало. Но металл, мрамор и береста, хоть и по разным причинам, одинаково непригодны для создания книги (впрочем, античные авторы упоминают книги, писанные на золоте или свинцовых листах,— и все-таки золотые и свинцовые манускрипты, надо думать, создавались скорее как музейные раритеты, памятные подарки, нежели как средство познакомить с авторской мыслью).

В античную эпоху писали на деревянных досках и на табличках из слоновой кости, но, подобно мрамору и металлу, этот материал служил для торжественных записей — для законодательных постановлений в первую очередь. В быту же пользовались преимущественно вощечками, «церами», как называли их римляне. Это были таблички, покрытые воском, на котором острой палочкой («стилем») набрасывали черновые записи; на другой стороне стиля имелся шарик, для того чтобы стирать написанное. «Чаще поворачивай стиль!» — рекомендовалось поэту. Чаще поворачивай стиль — это значит лучше продумывай, стирай написанное, ищи более точные слова для выражения мысли.

Церы были удобны для писем: получишь, прочтешь, сотрешь и на той же вощечке пиши ответ. На церах, складывавшихся вдвое (диптихах), писали деловые документы — долговые расписки, завещания. Изредка нахо-

дят античные воощенные таблички с литературными фрагментами, и все-таки не перы служили материалом для древних и средневековых книг. Их писали на папирусе, пергамене или бумаге.

Хорошо всем известное слово «папирус» происходит от египетского «ра-р-иго», что значит «царский». Кстати, этого же корня и немецкое слово «Papier» и русское «папироса». Греки называли папирус также «бѣблос». Со временем этот термин стал обозначать книгу вообще (ср. «библиотека» — буквально «склад книг» — и «Библия», что значит «книги»). Папирус — растение из семейства осоковых с крепким ползучим корневищем и безлистым стеблем толщиной «в руку сильного мужчины», как писал древнегреческий натуралист Теофраст. На высоком трехгранном гладком стебле его развивается шарообразное зеленое соцветие, напоминающее метелку или распушенные волосы. Папирус рос в огромном количестве в болотистой дельте Нила и в древности находил разнообразнейшее применение. По словам того же Теофраста, из него мастерили лодки, плели корзины, вили веревки, изготовляли утварь и одежду. Мясистые корневища папируса шли в пищу, а сердцевина — на фитили для светильников. Но славу свою папирус приобрел не благодаря питательности корневища или элегантности метелки-соцветия — не материальная польза, не скоротечная красота предопределили ту удивительную роль, которую сыграло это болотное растение в истории человеческой культуры: из папируса впервые был изготовлен писчий материал для книги в полном смысле этого слова. Греки и римляне одинаково называли этот писчий материал «хάρта» (отсюда арабское «qartas» — «папирусный лист» или «свиток»). Делали харту следующим образом.

Сперва трехгранный стебель разделяли на несколько частей, затем острым ножом срезали с него тонкие широкие полосы и, наконец, сортировали полученные полосы по ширине (из более узких выходил папирус второго сорта). На столе папирусные полосы располагали так, чтобы они краями накладывались одна на другую, а поверх них настилали новый слой — поперек первого (позднее, когда изготавливать папирусную харту стали небрежнее, полосы подчас укладывали в три слоя, чтобы избежать возникавших иногда пустот). Все это щедро поливали нильской водой, били деревянными молотками,



Портрет девушки с церами и стилем.  
Фреска из Помпей. Неаполь, Национальный музей

отчего волокна растения плотно скреплялись между собой (клеящие вещества начали применять сравнительно поздно). Полученную массу высушивали, обрезали по краям и полировали слоновой костью или раковинами для придания блеска.

В результате получался папирусный лист, который в идеале должен был обладать, по словам Плиния Старшего, четырьмя качествами: тонкостью, плотностью, блеском и гладкостью. Листы редко удовлетворяли всем четырем требованиям. К тому же папирус хрупок, легко ломается при сгибе, волокна подчас проступают на нем, образуя линии, иной раз подобные знакам, создаваемым

человеческой рукой; он прозрачен, и писать, можно, как правило, лишь на одной стороне — только из бережливости позднее стали заполнять «заднюю» сторону листа. По иронии судьбы эти поздние записи на исписанном папирусе порой оказывались ценнее более ранних заметок на лицевой стороне: достаточно вспомнить, что Аристотелева «Афинская полития» дошла до нас в виде «вторичной» записи, сделанной довольно небрежным почерком, тогда как «липо» книги занимают никому сейчас не интересные заметки, датированные 78—79 гг. н. э.

Так как папирус ломок, папирусная книга, естественно, приняла форму свитка (по-латыни ее называли « *volumen*»). Прямоугольные листы папируса не складывались в «тетради», а подклеивались один к другому, образуя длинную ленту, которую затем скатывали в трубку. Свиток склеивали, руководствуясь определенным правилом; волокна на всех листах должны были лежать параллельно: на внутренней стороне свитка — в горизонтальном направлении (по отношению к свитку) и соответственно на наружной стороне (вспомним, что лист составлялся из двух перпендикулярно положенных рядов папирусных срезов) — в вертикальном. Чистая папирусная лента (римляне называли ее «*scapus*») состояла примерно из 20 подклеенных друг к другу листов. Писец или читатель могли без труда удлинить свиток, прибавив к нему новые куски харты.

Последний и первый листы свитка получили свое наименование от греческого глагола «*коллао*» («клею»): эсхатокл («*эсхатос*» — «последний») и протокол («*протос*» — «первый»). Сохранилась забавная эпиграмма римского поэта I в. н. э. Марциала, высмеивавшего какого-то Севера: этот ленивый читатель, оказывается, едва прочитав пару страниц, уже начинал мечтать об эсхатоколе.

Размеры папирусной книги-свитка различны: известны книги, доходящие до 40 м в длину. Но свитками-великанами было неудобно пользоваться, и обычно книга делалась значительно меньшей — около 6—10 м. На одном свитке умещали, как правило, две-три песни «Илиады», и, следовательно, для всей поэмы требовалось около десятка книг. Средняя ширина свитка — около 30 см.

Текст располагали слева направо в виде отдельных колонок, или «страниц», — чаще всего по две на папирусном листе. Колонка называлась латинским словом



Св. Василий, читающий свиток.  
Фреска собора св. Софии в Охриде. IX в.

«pagina» (отсюда наш термин «пагинация») или греческим (дожившим до современности) «селіс», а иногда греческим же словом «тóмос» — «ломтик», «отрезок» (от «тёмно» — «режу»). Хорошо нам знакомое слово «том», имеющее теперь более «объемистое» значение, произошло, по видимому, от этого корня.

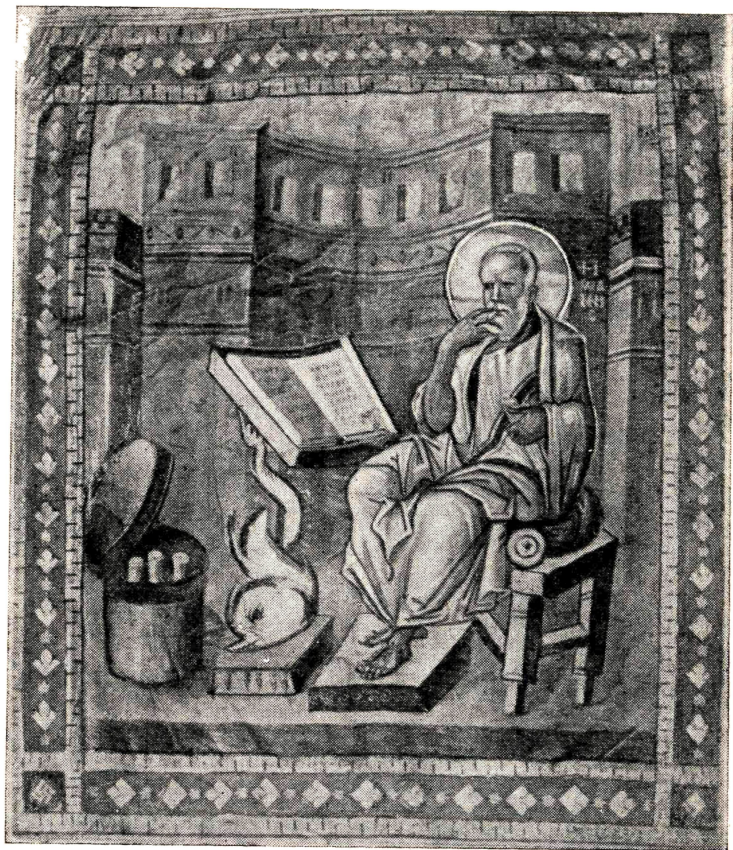
Для лучшей сохранности свиток наматывали на специальный деревянный или костяной стержень, который греки называли «пуп», «ómфалос». В дорогих книгах пуп бывал окрашенным или даже позолоченным. Свернутый свиток укладывали в кожаный футляр, или «плащ», — по-гречески «файнóла» или «фенóла»; в результате метатезы — перестановки букв — из него образовалось слово «фелонь», вошедшее затем в русский язык. В русском переводе послания Павла к Тимофею (2 Тим. 4, 13) есть такая фраза: «Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Фелонь здесь скорее всего не плащ, как часто толкуют это место, а именно футляр для свитка.

Чтобы легче было ориентироваться среди книг, убранных в фелони, к верхнему краю свитка прикрепляли кожаный значок, где помечался заголовок рукописи.

Главнейшим центром производства папируса был в древности, разумеется, Египет. Египетские города и области дали наименования различным его сортам — саисский, тенеотский. В IV—VI вв. производство папируса вообще превратилось в египетскую монополию: по словам анонимного «Описания всего мира» (IV в.), харту изготовляли только в Александрии. И Кассиодор, писавший два века спустя, определенно утверждал, что из Мемфиса поступает писчий материал во все канцелярии.

В древности нильская дельта и Фаюмский оазис изобиловали папирусными зарослями, с течением времени папирус в Египте исчез, он встречается в наши дни лишь южнее, в тропической Африке. Энергичное использование папируса вело к постепенному истреблению его, этому способствовало также пересыхание водоемов.

Папирусное производство сохранялось в Египте и после того, как страна была завоевана арабами (около 640 г.), — по крайней мере до X столетия. Арабы наладили, помимо того, изготовление харты в Самарре на Тигре. Вывоз папируса за пределы Арабского халифата



Евангелист Лука.  
Рядом с ним свитки в футляре.  
Миниатюра из евангелия Афонского монастыря Ставроникиты.  
Первая половина X в.

был запрещен уже в конце VII в.: видимо, этот запрет заставил франкских королей Меровингов отказаться от употребления папируса для своих грамот, или, как мы говорим, дипломов. Папирус в Западной Европе стал редкостью.

Правда, еще в первой половине XII в. клюнийский аббат Петр видел книги, сделанные «из папируса восточ-

ных болот», впрочем, речь идет, вероятно, о старых книгах, а не о писанных современниками Петра. Чуть позднее упомянул о писчем материале из папируса византийский писатель Евстафий Солунский (в комментарии к «Одиссее»): он назвал его искусственным словом «ксилохάρта» («древесная бумага») и заметил, что изготовление его прекратилось совсем недавно.

Несколько дольше, чем в Египте, папирусное производство удерживалось в Сицилии. Оно было запесено на этот остров с востока, возможно, еще при папе Григории I (590—604) и существовало как в период арабского господства над островом, так и после изгнания арабов. Государственные плантации папируса близ Палермо сохранялись до XIII в. На протяжении всего раннего средневековья (вплоть до XI в.) римская канцелярия по-прежнему пользовалась папирусом как материалом для папских булл, и византийские императоры составляли указы на папирусных свитках (чтобы избежать фальсификаций — вклеивания дополнительных листов в грамоту или замены одного листа другим, — специальный чиновник ставил свой росчерк на всех местах соединения составных частей длинной царской грамоты).

Но много раньше, чем папирус вышел из употребления, у него появились опасные соперники. Первым из них был пергамен (мы должны писать именно «пергамен», отличая классический писчий материал средневековья от современного пергамента — специально обработанной бумаги для заворачивания масла или сыра).

Выделанная кожа использовалась как материал для письма уже в Древнем Египте и на Ближнем Востоке; В Каирском музее хранится кожаный свиток, который датируется II тыс. до н. э., — древнейший образец кожаной «бумаги». По-видимому, кожа служила писчим материалом в Двуречье с начала I тыс. до н. э. и оттуда распространилась на запад — в Финикию и Малую Азию. Столь шумевшие в последние годы рукописи с берегов Мертвого моря — также кожаные свитки. Известны и персидские документы VII в. до н. э. на овечьей коже. Изредка писали на коже в Древней Греции и в Италии: еще Геродот упоминал кожаные книги ионийских греков, сделанные из овечьих и козьих шкур, а римская легенда рассказывает, что договор последнего царя Рима Тарквиния Гордого с Габиями был начертан на шкуре

жертвенного животного, и этой кожей обили деревянный щит.

Однако предание, сохраненное Плинием Старшим, связывает изобретение нового типа «бумаги» с Пергамом. По словам Плиния, пергамский царь Евмен II (197—158) решил основать библиотеку, которая могла бы соперничать с александрийской; тогда царь Египта запретил вывоз папируса в Пергам, но пергамцы усовершенствовали изготовление кожи для письма и создали все-таки в своей столице большое книгохранилище. Заслуживает рассказ Плиния доверия или нет, решить нелегко, — во всяком случае, бросается в глаза этимологическое родство географического названия Пергам и термина, обозначающего кожаный писчий материал, — пергамен. Знаменитый медик Гален, уроженец Пергама, живший во II в. н. э., упоминал старые рукописи Гиппократов, которыми он пользовался: одни были написаны на папирусе, другие — на коже, «как папи, пергамские». Однако ни одного пергамена, происходящего из Пергама, до нашего времени не дошло.

Греки называли пергамен первоначально словом «дифтэра», несомненно родственным персидскому «дафтар» («тетрадь»). В каком языке этот корень является начальным, сказать трудно: скорее всего, в греческом, ибо персы пользовались словом «дафтар» только во вторичном, производном значении. Кроме того, греки и римляне именовали кожаные книги «мембрана». Выражение типа «membrana pergamena» или «charta pergamena», т. е. «пергамская кожа» или «пергамская бумага», появляются сравнительно поздно: первый бесспорный пример — это эдикт императора Диоклетиана о ценах 301 г. н. э.

Но еще до того, как слово «пергамен» утвердилось в языке населения Римской империи, пергаменные («кожаные») книги распространились в Средиземноморье. Уже во времена Цицерона они были известны в Риме, однако даже в конце I в. н. э. пергаменные манускрипты оставались редкими и дорогими. В «Апофоретах» римского поэта Марциала, своего рода этикетках к подаркам, перечислены среди прочего книги: одни предназначены в дар богатым, другие годятся для бедняков; одни объемистые, пухлые произведения (Гомера, Вергилия, Тита Ливия, «Метаморфозы» Овидия), другие невелики по размеру (тут «Война мышей и лягушек», «Таис» Менап-

дра, поэтические сборники Тибулла и Катулла). О толстых (и дорогих) прямо сказано, что они писаны на коже.

**Д**ревнейшие пергаменные рукописи найдены в Дур-Европос (Месопотамия); среди них греческий документ 195 г. до н. э. Ко II в. н. э. относится фрагмент «Критян» Еврипида. От III в. дошло больше отрывков: из Демосфена, Еврипида, Менаандра, а также Венский фрагмент Фукидида, писанный на коже антилопы.

По-видимому, в IV в. пергамен вытесняет папирус из книжного дела. Во всяком случае, в описании имущества одной из египетских церквей V—VI вв. названо «кожаных книг — 24, папирусных — 3», т. е. пергаменных в семь раз больше. И это в Египте, в классической стране папирусного производства.

Историк рукописной книги Л. Зантифаллер насчитывает всего 158 сохранившихся папирусных книг (греческих и латинских) V—XII вв.<sup>1</sup>

**В** книжном деле средневековья папирусу практически уже нет места. Смена цивилизаций сопровождается сменой писчего материала. Книга раннего средневековья по преимуществу пергаменная, и средневековые монахи охотно пользуются образом пергамена в назидательных целях, сравнивая становление «нового человека» с выработкой из грубой и волосатой звериной шкуры тонкого и нежного материала для письма.

**П**ергамен изготавливали на юге Европы обычно из козьей или овечьей кожи, в северных районах — из телячьей. (на Руси пергамен так и назывался «телятина». Впрочем, здесь были и другие термины для пергамена, и в частности «харатья» — от известного нам слова «харта» — «папирусная бумага»). Особенно ценились шкурки новорожденных ягнят. Кое-где первоклассный пергамен выделявали из антилопьеи кожи, но она была слишком редкой. И уже совсем уникальной оказалась фабрикация книг из змеиной кожи. Об одной такой книге упоминает византийский хронист XII в. Георгий Кедрин: на тонкой и длинной коже «дракона» золотыми буквами переписали «Илиаду» и «Одиссею» вместе с рассказами о подвигах древних героев.

**И**звестны раннесредневековые рецепты производства пергамена — один из самых древних обнаружен во фрагментарной коптской рукописи VI—VII вв., сохранившейся на двух папирусных листах и содержащей множество греческих терминов.

Чтобы приготовить пергамен, шкуру промывали, золотили в слабом зольнике с прибавкой поташа и очищали от остатков мяса и шерсти. Промыв шкуру вторично, ее растягивали на рамах для просушки, затем натирали мелом (он впитывал жир) и пемзой (чтобы сделать гладкой). Византийский писатель XIII в. Максим Плануд упомянул в одном из писем о том, что пергамен обрабатывался также яйцом. Снятую с рамы шкуру выстругивали ножом и снова шлифовали пемзой.

В идеале пергамен должен был стать ровным и гладким листом, но достигнуть этого удавалось далеко не всегда: сохранились неудачно раскроенные листы с дырками от ножек (часто аккуратно заплатаанными), листы с «зализами», на которые плохо ложились чернила, листы с разрезами от неловких движений ножа.

Северный и южный пергамен различались не только по сырью, но и по характеру обработки шкуры: на юге тщательно очищали только мясную (внутреннюю) сторону, на лицевой же стороне оставались следы щетины, и цвет ее был не белым, а серо-желтым; на севере лицевая сторона не уступала мясной по гладкости и белизне. Особенности южного пергамена (распространенного в бассейне Средиземноморья — особенно в Италии и Испании) связаны со стойкостью здесь античных традиций: ведь на папирусе писали с одной стороны, поэтому в областях, знавших в свое время папирусную книгу, пергамен приготавливали так, чтобы наносить текст только на внутреннюю сторону. Приготавливали так, но писали все-таки на двух сторонах. Северные же области, более свободные от античных технических традиций, обрабатывали одинаково тщательно ту и другую сторону кожаной «бумаги».

На Востоке пергамен также был неодинаковым: насколько можно судить по довольно ограниченному числу точно локализуемых греческих рукописей IX—XI вв., константинопольские писцы работали на материале более высокого качества, нежели переписчики книг в Сирии и Палестине.

Иногда пергамен поддвечивали, покрывали краской, чаще всего пурпурной! В конце IV столетия церковный деятель и переводчик Библии Иероним обрушивался на любителей роскоши, писавших на пурпурной коже золотыми и серебряными буквами. Сохранилось немало «пур-

пурных» пергаменных рукописей разного цвета: вишневого, лилового, коричневого и даже черного. Впрочем, обычай подцвечивать книгу довольно рано исчез в византийском книжном деле, тогда как торжественные документы и в поздней Византии переписывали золотом и серебром на цветном фоне.

По сравнению с папирусом пергамен обладал определенными преимуществами: он был прочен и долговечен; поддавался фальцеванию, т. е. сгибался, не ломаясь; был непрозрачен и использовался с обеих сторон.

Однако пергаменная книга стоила дорого. В помете на одной греческой рукописи, хранящейся в Эскуриале, сообщается, что некий монах Феодосий купил в Бринди-зи (?) три книги: повесть «Варлаам и Иоасаф», стоившую 8 тариев, послания апостола Павла за 20 тариев и сборник, оцененный в 50 перперов. И перпер, и тарий ( $\frac{1}{4}$  перпера) — золотые монеты: перперы имели хождение во всей Византии, тарии — в ее южноитальянских владениях. Указанные цены очень высоки. В XI в. за 4 тария можно было купить 3 модия земли (1 модий составлял около 0,08 га); в начале XIII в. за 22 тария был приобретен городской дом — почти за столько же, за сколько и Павловы послания. Еще в XIV в., после возрастания цен, византийский крестьянин уплачивал за свой надел около 2 перперов годового налога.

Другие источники подтверждают сведения Эскуриальской рукописи: например, в начале X в., когда в Византии еще не началось повышение цен, Арефа, архиепископ кесарийский, платил по 20—30 золотых номисм (перперов) за изготовление книги, а из надписи 1057 г. мы узнаем, что патрикий Поф отдал за книгу 150 номисм, хотя работа еще не была окончена. При этом дорого стоил не только пергамен, но и труд переписчика: Арефа как-то потратил 6 номисм на пергамен и 20 выдал писцу.

Разумеется, сопоставлять византийские цены с античными крайне трудно. Папирусная книга в Древней Греции обходилась примерно в 1 драхму (мелкую серебряную монету), а в Римской империи папирус подешевел. Арабские данные, относящиеся к IX в., свидетельствуют, что и папирусная книга несколько вздорожала по сравнению с античной эпохой: стоимость одного свитка колеблется от  $\frac{1}{32}$  до  $\frac{1}{4}$  динара — золотой монеты (на 1 динар можно было купить  $8\frac{1}{2}$  артаб, т. е. около

340 литров, пшеницы; годовая плата за аренду винной лавки тоже составляла 1 динар), и только свиток особо высокого качества оценивался в 1½ динара. Но даже и арабские цены на папирусную книгу несопоставимы с ценами пергаменных рукописей в Византии.

Изменение материала для письма сопровождалось изменением внешнего облика книги. Папирусная книга — по преимуществу свиток, пергаменная — «кодекс», состоящий из отдельных сфальцованных тетрадей, переплетенных вместе.

Конечно, иногда папирусная книга делалась в виде кодекса (из сохранившихся 158 папирусных книг, греческих и латинских, V—XII вв. только 13 свитков, и все они принадлежат к наиболее ранним, датируемым V—VI столетиями; папирусные документы-свитки, впрочем, изготовлялись еще в XI в.) и, наоборот, первые пергаменные книги представляли собой свиток. В дальнейшем, однако, форма свитка сохранилась преимущественно для документов и для рукописей литургического (богослужебного) содержания.

Итак, можно сказать, что пергаменная книга первоначально подражала папирусной, но недостатки пергаменного свитка должны были обнаружиться рано или поздно: дело в том, что пергамен сильно подвержен погодным влияниям, от сырости он коробится, и тогда сворачивать его в трубку становится неудобно. А так как он в отличие от папируса хорошо поддается фальцеванию, то еще в I в. до н. э. пергаменные листы хранили, сгибая их наподобие вошечек-диптихов. Из этих соединенных, сфальцованных пергаменных листов и возникли первые кодексы.

Словом «кодекс» («caudex») назывались, по свидетельству Сенеки, соединенные вместе таблички для черновых записей. Помимо цер, для их изготовления использовали кожу, пергамен, еще реже — папирус. До III в. н. э. упоминания о папирусных «табличках» случайны. Светоний, правда, сообщает, что Цезарь посылал донесения в сенат на папирусе, сложенном в виде таблички. Во всяком случае, находки в Египте, относящиеся к первым трем векам нашей эры, дали множество вошечек, одну пергаменную тетрадь для заметок и ни одной папирусной. Но в Дура-Европос уже встречаются и пергаменные листы черновых записей, и папирусная тетрадь III столетия.

Пергаменные кодексы были первоначально собраниями документов. Если папирусные акты хранили чаще всего, подклеивая их к свитку, то пергаменные подшивали друг к другу, как подшивают листы в брошюре или тетради. Средневековый термин, распространенный на Западе, — «полиптих», обозначавший собрание грамот (иначе — «картулярий»), буквально «много сложенных (листов)», восходит, по-видимому, к тому времени, когда делали кодексы из кожаных табличек. В Византии картулярий прямо называли «кодексом» («кодиком» в греческом произношении). Еще римский правовед Ульпиан в начале III в. считал, что «книга» — это только свиток, а «кодекс» — черновая тетрадь.

Слово «кодекс» приобрело еще одно специфическое значение: так именовались книги правового содержания, сборники законов. Ранневизантийские юристы создали ряд таких сборников, среди которых особенно известны «Кодекс Феодосия», составленный в V в., и чуть более поздний «Кодекс Юстиниана». Это специфическое словоупотребление заставляет предположить, что сброшюрованная книга из сферы черновых записей перешла сравнительно рано в область юриспруденции.

Весьма распространенными становятся кодексы среди христианских книг, причем не дорогие, пергаменные, а более дешевые, папирусные, по форме своей похожие на тетради для черновых записей. Нельзя сказать, что христианские книги — исключительно кодексы, но удельный вес кодексов среди раннехристианских рукописей удивительно велик. Из 111 библейских рукописей и фрагментов II—IV вв., найденных в Египте, 99 — кодексы. Раннехристианские кодексы — небольшого формата.

И наоборот, хотя среди языческих рукописей кодексы встречаются уже во II в. н. э., они на первых порах редки. По данным, приводимым английским ученым К. Робертсом<sup>2</sup>, среди языческих литературных текстов, найденных в Египте, кодексы по отношению к свиткам составляют:

II в.	—	2,31%
II—III в.	—	2,9%
III в.	—	16,8%
III—IV в.	—	48,14%
IV в.	—	73,95%

Вероятно, под влиянием пергаменной книги и папирусная к IV—V вв. приобрела форму кодекса, хотя старая традиция оставалась настолько сильной, что еще Августин считал необходимым просить извинение за послание, отправленное не на свитке, а в форме кодекса. Несмотря на известную неловкость, он, как и его современники, все-таки предпочитал кодекс. В VI—VII вв. книга-свиток практически вышла из употребления.

С этой эволюцией в книжном деле хронологически совпадает и видоизменение приемов работы писца. Античные переписчики книг не пользовались столами. Широко распространенное утверждение, что в Кумране обнаружены столы скриптория сектантов-эссенов, по-видимому, неточно: речь должна идти не о столах, а о скамьях, на которых работали переписчики I в. н. э. Во всяком случае, это уникальное свидетельство: по всем остальным данным, древние каллиграфы писали, положив папирус на колени, а чтобы было удобнее, ставили под ноги маленькую скамеечку.

Начиная с V в. н. э. (а может быть, даже несколько раньше) появляются первые изображения писцов, сидящих за столом. Сперва изолированные и случайные, изображения такого рода становятся нормой в VIII—IX вв., хотя, разумеется, и тогда, и позднее сохранялась традиция — если не писать, держа рукопись на коленях, то, во всяком случае, изображать человека пишущим так, как это делали в Древней Греции и Древнем Риме.

Изменение приемов работы писца в средние века, возможно, связано с тем, что античную книгу переписывали обычно рабы, об удобстве труда которых заботились крайне мало, и к тому же под диктовку. Средневековый книжник, напротив, выполнял работу, как правило, сам, глядя в оригинал. Лишь некоторые средневековые списки обнаруживают характерные ошибки, которые могли возникнуть из-за писания под диктовку, а иногда даже передают неправильности речи диктовальщика, его заикание, например, приводящее к ошибочному удвоению некоторых слогов. Старый метод не исчез вовсе, но он находил теперь ограниченное применение. Нужно ли при этом подчеркивать, что писец, работавший над книгой в одиночку, с трудом мог бы обойтись без стола, на который он клал и оригинал, и чистые листы будущего кодекса.

Шервноначально кодекс состоял из одной-единственной пачки сфальцованных листов. В дальнейшем его стали делать из нескольких «брошюр», обычно сложенных из четырех согнутых вдвое листов каждая, т. е. из 16 страниц. По-гречески такая брошюра называлась «тетрада» (четверка) — отсюда произошло наше хорошо всем известное слово «тетрадь». Сплось и рядом тетради манускрипта нумеровались, и на рукописи ставилась помета, указывавшая общее число тетрадей.)

Формат пергаменной книги мог быть самым разнообразным. Сохранилось предание об «Илиаде» столь миниатюрной, что она помещалась внутри ореховой скорлупы, — предание, впрочем, довольно сомнительное. Наряду с этим известны огромные рукописи, как, например, книга сочинений греческого поэта V в. н. э. Нонна Панополитанского форматом 38 × 27 см.

Папирусный свиток хранили в футляре, пергаменный кодекс переплетали, при этом книгу сперва переписывали и уже после того снабжали переплетом. Помимо ранних переплетов из коптского Египта, уцелели средневековые переплеты преимущественно на рукописях XIV—XV вв.

Сходство тех и других свидетельствует о стойкости традиций.

Отдельные тетради византийского кодекса не подшивались к корешку, а сшивались с соседними, затем к тыльной стороне тетрадей подклеивался кусок ткани, достаточно длинный, чтобы его концы могли быть закреплены снаружи в специальных желобках переплетной доски. Деревянные доски переплета стягивались кожаными завязками или металлическими застёжками, чтобы помещать пергамену коробиться. Доски переплета обтягивались кожей или тканью, иногда оковывались серебром, выкладывались драгоценными камнями, украшались фигурками и надписями.

По сравнению со свитком кодекс обладал рядом преимуществ. Он был более «емок» — ведь на пергаменном листе писали с обеих сторон. Число листов в кодексе также могло быть большим. По словам папы Григория I, в шести кодексах умещался такой же текст, что на 35 свитках. Далее, кодекс удобнее хранить. Наконец, им проще было пользоваться: свиток приходилось держать обеими руками, кодекс мог просто лежать на коленях.)

Иконография оставила любопытные памятники торжества новой формы книги. В одной из рукописей Афонского монастыря Ставроникиты X в. представлен евангелист Лука: перед ним развернут длинный свиток, который он копирует в положенный на колени маленький кодекс.

Подобно тому как пергамен вытеснил папирус, он сам в свою очередь уступил место новому писчему материалу — бумаге!

Бумага — китайское изобретение, сделанное еще за несколько столетий до нашей эры. Из Китая она распространилась на восток, в Японию, и на запад, к арабам. Арабы освоили производство бумаги в Самарканде уже в середине VIII в. н. э. Древнейшая сохранившаяся арабская бумажная книга, так называемый Codex Warner, датируется 866 г., но известны фрагменты и акты, относящиеся к более раннему времени. На первых порах самаркандские мастерские удовлетворяли потребности всего арабского мира. Около 900 г. бумажное дело налаживается западнее, в цитадели папирусного производства — Египте. Затем в X в. создаются мастерские в Дамаске, Тивериаде, в Хамате, Триполи и, может быть, в Багдаде. Видимо, несколько позднее возникает бумажное производство в Каире. Именно тогда папирус окончательно перестает служить писчим материалом: здесь, в Восточном Средиземноморье, сокрушительный удар ему нанесла бумага, а не пергамен.

Древнейшая греческая бумажная рукопись — Ватиканская 2200. Она создана очень рано, около 800 г., однако за пределами Византийской империи, в Дамаске, в сохранявшейся там эллинизированной среде. Эта рукопись уникальна.

Когда бумага впервые появилась в Византии, сказать трудно. Это произошло не позднее XI в. В инвентаре монастырского имущества, составленном в 1077 г. по приказанию писателя, правоведа и чиновника Михаила Атталиата, наряду с «кожаными» книгами перечислено несколько бомбикиновых, т. е. писанных на бумаге. Уже с середины XI столетия византийская императорская канцелярия приступила к изготовлению бумажных грамот: это были, подобно папирусным, длинные свитки, склеенные из нескольких листов. Древнейший из уцелевших свитков (1052 г.) — «златопечатное слово» императора Константина IX Мономаха (1042—1055), содержа-

щее привилегии Афонской лавре св. Афанасия, достигает в длину 2,68 м. Самая древняя греческая рукописная бумажная книга (собственно говоря, она изготовлена частично на бумаге, частично на пергамене), которая имеет точную дату (1105), — Ватиканская 504. (Возможно, уже в 1043 г. была переписана бумажная рукопись из книгохранилища Ивирского монастыря на Афоне, но ее дата не является бесспорной.)

На Запад бумага приходит несколько позднее, если не считать Испании, где арабы построили бумажные мельницы еще в конце X в. В Сицилии древнейшая бумажная грамота датирована 1109 г. Первые бумажные документы, изготовленные на территории Германии, относятся к концу XIII в., а на Руси — к середине XIV в.; наиболее ранняя из русских бумажных книг датирована 1381 г. И в Византии, и на латинском Западе бумагу называли «бомбикином» (*charta bombycina*) — словом, от которого (возможно, через итальянское посредство) происходит и наше название «бумага». Этимология термина «бомбикин» остается загадочной. Сперва его производили от греческого слова «бомбик», обозначавшего шелк, а позднее хлопок, и полагали, что ранняя бумага на Востоке изготовлялась не из тряпок, а из волокна хлопчатника, но микроскопический анализ, сделанный еще в конце прошлого века, показал несостоятельность этой гипотезы: писчего материала из хлопчатника, по всей вероятности, никогда не существовало. Не утвердилось и предположение, что слово «бомбикин» происходит от названия города Манбидж и что *charta bombycina* — это манбиджская бумага: случайное сходство слов — опасный и коварный аргумент, к тому же о производстве бумаги в Манбидже мы совершенно ничего не знаем.

Иногда указывают, что слово «бомбик», которым называли шелк, а также вообще тонкую ткань, вошло в сочетание «*charta bombycina*» не в своем прямом, а в переносном значении: бомбикиновая харта в понимании человека средневековья — это гладкая бумага, не хлопчатая, не льняная, не шелковая, но шелковистая.

Однако, какова бы ни была этимология слова «бомбикин» (в Византии, возможно, произносили «вамбикин»), оно сделалось распространеннейшим наименованием бумаги, и только позднее, после окончательного вырожде-

ния папирусного производства, его вытеснило старое — «charta papyri».

/ Бумагу изготавливали из льняных тряпок. Производство было ручным. Волокнистый материал размачивали, варили с золой и размалывали. Полученную кашцеобразную массу черпали формой величиной с изготавливаемый лист. Форма эта представляла собой деревянную раму с тесно натянутыми на ней рядами металлических нитей, перекрещивающихся под прямым углом. Бумажная масса задерживалась на металлической сетке и постепенно высыхала, после чего бумажный слой извлекали из рамы, выглаживали и ложили. Чтобы сделать лист более жестким, его погружали в клейкий раствор.)

Поскольку бумажная масса ложилась на проволочную сетку, на листе обнаруживалось видимое на свет пересечение тонких линий: горизонтальных — вержеров («vergeures» — по-французски «полоски»), вертикальных — понтюзо («pontuseaux» — по-французски «мостики»).

Бумага западного и восточного производства, по-видимому, из одного и того же сырья: выше уже говорилось, что тезис о существовании хлопчатой бумаги ныне отвергнут. Однако различие между ними тем не менее заметно. Во-первых, для клейкого раствора на Востоке применяли крахмал, тогда как на Западе, во всяком случае, с конца XIII в. пользовались желатином, сваренным из рогов и копыт животных. Во-вторых, поверхность восточной бумаги, на которой писаны арабские и византийские книги, гладкая, с коричневатым оттенком, тогда как ранняя западная шероховатая, желтоватого и даже почти белого цвета. Восточная бумажная масса ровная, хорошо перемешанная, западная — пористая, неровная. В-третьих, вержеры восточной бумаги тонкие, иногда расположены по кривой, а понтюзо — плохо различимые, отстоят друг от друга на неравном расстоянии, тогда как западные вержеры толще и всегда параллельны раме, а понтюзо чередуются через ровные интервалы. Наконец, восточная бумага представлена форматом трех типов, тогда как Запад первоначально знал один-единственный формат — примерно 28 × 45 см.

С конца XIII в. качество западной бумаги быстро улучшается: бумажная масса делается более ровной, число вержеров возрастает, понтюзо располагаются ближе друг к другу. Напротив, в Византии после катастрофы

1204 г., когда Константинополь был захвачен крестоносцами, бумага становится значительно хуже, и это обстоятельство порождает своего рода пергаменный рецидив: торжественные императорские грамоты, которые с середины XI в. канцелярия выпускала на бумаге, уже с 1259 г. обычно переписываются на пергамене, и только документы меньшей важности остаются бумажными.

Если до XIII в. византийцы пользовались арабской бумагой и частично, может быть, бумагой собственного производства, то в XIV—XV вв. они предпочитают высококачественный западный писчий материал, главным образом итальянский.

Одной из характернейших особенностей западноевропейской бумаги с конца XIII в. становится наличие водяных знаков. Водяной знак, или филигрань, — это особый узор на бумажном листе, своего рода марка мастера. Она создавалась от рисунка на проволочной сетке, который «отпечатывался» на бумаге, подобно вержерам и понтюзо. Поскольку сетки были непрочны и время от времени ветшали и заменялись новыми, поскольку вместе с сеткой заменялся и рисунок водяного знака, эволюция филигрanei дает возможность исследователю более или менее точно, иногда в пределах нескольких лет, датировать если не написание рукописи, то хотя бы изготовление бумаги. Некоторые мастера уже в начале XIV в. ставили на изделиях свою фамилию, например итальянские бумагоделы Фабриано, чья продукция вывозилась и в Константинополь.

Водяные знаки чрезвычайно разнообразны. В Италии XIV в. любили изображать ангела с крестом, венок, шлем, знамя; во Франции — три лилии, петуха; в Германии — свинью. Восточная бумага не имела филигрanei; греческие манускрипты на бумаге с водяными знаками писаны, следовательно, на привозном с Запада материале.

Итак, бумага в Средиземноморье появилась довольно рано, но ей понадобилось несколько столетий, чтобы вытеснить пергамен. В общем и целом победа бумажной книги над пергаменной приходится в Европе на XIV столетие. С этого момента пергаменный кодекс становится исключением.

Изобретение бумаги не привело к изменению внешнего облика книги: как и пергаменная, бумажная ру-

копись — чаще всего кодекс, состоящий из нескольких тетрадей, сшитых вместе и скрепленных дощатым переплетом. Такую форму книга по сути дела сохранила и после изобретения книгопечатания.

**Средневековая книга** — рукописная. Текст наносился вручную. Для работы писец пользовался разнообразными орудиями. Тонкая круглая свинцовая пластинка служила ему для разлиновки колонок (столбцов) и строк (позднее, с переходом к пергаменному кодексу, писцы стали лिनовать грифелем, следы от которого оставались сразу и на волосистой, и на мясной стороне кожи). Для того чтобы строки располагались на равном расстоянии одна от другой, писец размечал их циркулем, а позднее специальным пункторием — стержнем, который был снабжен иглами, воткнутыми через равные интервалы. Намеченные пункторием точки соединялись линейкой, вдоль которой свинцом или грифелем проводили черту. Греческое слово «канон» (линейка) получило со временем более широкое значение: канонем называли правило (отсюда наше «канонический», что значит правильный, официальный) и постановление, особенно церковное (отсюда каноническое, т. е. церковное, право), а государственным канонем — основной поземельный налог.

Среди орудий писца был также перочинный ножик, который в средние века полностью соответствовал своему наименованию, им действительно чинили перья (а кроме того, обрезали папирус). Писец пользовался пером и чтобы шлифовать, и чтобы острить кончик пера.

Египетские писцы работали камышинкой, наискось срезанной; по-видимому, в III в. до н. э. было изобретено с двух сторон заостренное камышовое перо, дававшее более тонкий штрих. Греки называли его «калам», словом, которое означало прежде всего камыш. Конец камышового пера расщеплялся надвое, как позднее расщеплялось гусиное перо.

Уже в древности наряду с тростниковым пером писцы изредка пользовались костяными и металлическими. Постепенно, однако, на Западе все эти орудия были вытеснены птичьими перьями.

Птичье перо, вероятно, не применялось античными писцами: во всяком случае, его не удалось обнаружить ни на одном греческом или римском памятнике, тогда как калам постоянно и упоминается в текстах, и изобраа-

жается художниками (мы даже знаем, что во II в. до н. э. в Египте 1000 тростниковых перьев стоили всего 15 медных монет). Первое бесспорное упоминание птичьего пера в качестве орудия для письма находится во втором фрагменте так называемого «Анонима Вalezия», сочинения современника короля Теодориха Остготского (493—526). Но уже столетие спустя Исидор Севильский писал: «Орудия письма — калам и перо, ими наносятся слова на страницы. Если калам делается из дерева (так!), то перо — птичье. Острие его расщепляется надвое»<sup>3</sup>. Чтобы стать орудием писца, птичье перо подвергалось специальной обработке: его выдерживали в песке или в золе, соскребали ненужные перепонки, удаляли жир и, наконец, очиняли.

На Западе в миниатюрах евангелий изображение птичьего пера появляется в VIII—IX вв., но первоначально лишь евангелиста Иоанна наделяли этим орудием, все остальные евангелисты вплоть до XI в. держали в руках калам. Только в XII в. калам исчезает из канонических миниатюр. Однако это не значит, что тростниковое перо действительно существовало так долго: ведь каноническая иконография средневековья очень традиционна и сильно отставала от действительности. По всей видимости, замена камышового пера птичьим совершилась в XI в.: западные письменные источники с XII в. говорят только о гусиных, лебединых или павлиньих перьях.

На Руси письмо каламом не нашло применения, как не употреблялся здесь и папирус. Правда, на некоторых миниатюрах древнерусских евангелий евангелисты держат тростниковое перо, но это не более как дань архаичной традиции. Возможно, эта традиция попала на Русь из Византии.

Зато на мусульманском Востоке тростниковое перо (арабы называли его заимствованным у греков термином «qalam») господствовало на протяжении всего средневековья. Здесь даже утверждали, что пророк Енох был первым, кто начал писать каламом, и «люди калама» обычно противопоставлялись «людям меча». Изобретенное в X в. вечное перо (с внутренним резервуаром для чернил), которое можно было прятать в рукава, не боясь испачкаться, осталось в арабском мире забавным раритетом. По-видимому, и в Закавказье в средние века пользовались преимущественно «тростью» — каламом.



**Евангелист Матфей за письмом.**  
**На столике разложены письменные принадлежности.**  
 Миниатюра из евангелия середины X в. Афины, Национальная библиотека

¶ Писали в Византии гусиным пером или нет, неизвестно, калам, во всяком случае, сохранялся там очень долго. Например, в Евангелии Парижской библиотеки 54, датированном концом XIII в., мы видим Луку возле столика, на котором несколько тростниковых перьев. И в более поздней (середина XIV в.) рукописи Московского исторического музея 407 евангелисты изображены с каламом в руках. Императорская канцелярия также удержала «трость» как инструмент для письма.

Термин «калам» постоянно встречается и в византийских литературных текстах: ораторы XII в. любили со-

поставлять тростниковое перо, бичующее противника, с копьём, обгаренным вражеской кровью.

Наряду с термином «калам» у византийцев существовал также термин «графис» или «графйон». Можно было бы думать, что это стиль, который в русских текстах именуется «писалом», однако Евстафий Солунский и Иоанн Цец в XII в. употребляют термин «графис» бок о бок со словом «чернила» — значит, это перо. Но какое? Евстафий называет «писало» бронзовым. Нельзя ли допустить, что речь идет о металлическом пере? Вопрос этот нуждается в дальнейшем исследовании.

Если перо по самой природе его материала непрочное, то чернильницы, сделанные из камня, рога или металла, лучше выдерживали время, и поныне сохранилось немало древних чернильниц, иногда с остатками высохших чернил. Среди них известны роскошные, подобные византийской серебряной чернильнице IX в., украшенной изображениями античных мифологических персонажей и надписью, которая прославляет писца Льва — «чудо среди каллиграфов». Античные чернила (по-гречески «мелан» — черное) подобны китайской туши и нередко сохраняют блеск и цвет на текстах двухтысячелетней давности. Их изготовляли из смеси сажи с камедью (вишневым клеем), из костяного угля (в том числе из жженой слоновой кости), из косточек плодов, из мягких древесных пород и, быть может, из чернильной жидкости каракатицы. То ли из-за состава чернил, то ли из-за характера писчего материала античные тексты легко смывались, и жалобы на «разрушительную губку» часты в античной литературе. Светоний приводит забавную шутку Августа, оплакивавшего неудачу своей трагедии «Аякс». «На вопрос друзей, что поделявает его Аякс, он ответил, что Аякс бросился на свою губку». (Согласно мифу, Аякс, участник Троянской войны, покончил с собой, бросившись на собственный меч.) И в другом месте он говорит, что поэтам, не угодившим Калигуле, приходилось смывать губкой, а то и слизывать языком свои неудачные сочинения — если только они хотели избежать розог. Вплоть до V в. н. э. писатели вспоминают «разрушительную губку». В средние века положение меняется. Впрочем, средневековые арабские авторы сберегли многообразные рецепты чернил из сажи — главным образом из жженого растительного масла или нефти.

После того как утвердилась пергаменная книга, по-видимому, были созданы новые чернила — из сока дубовых чернильных орешков, — впервые упомянутые латинским писателем Марцианом Капеллой, жившим в V столетии. Они были прочнее, их нельзя было смыть губкой. Можно было только соскоблить пемзой. По своему желто-коричневому тону они отличались от блестящих сажных чернил. В Византии «варенные чернила» — энкауст — готовили не только из толченых и пропаренных чернильных орешков (возможно, с добавлением медного купороса), но и из отвара некоторых сортов древесной коры, перемешанного с сажей и камедью. Чернильные орешки служили материалом для изготовления чернил также и в арабских странах. К XV в. внедряются так называемые железные чернила современного типа.


Пергаменная книга была очень дорога, и это подчас приводило к тому, что старый текст соскабливали и на очищенную поверхность наносили новый. Так возникали книги с «двойной нагрузкой» — палимпсесты (от греческих слов «пáлин» — «вновь» и «псéхо» — «счищаю»). Древнейший греческий палимпсест — сочинения Ефрема Сирина в рукописи V в., стертые и «записанные» в XIII столетии. Сохранились также палимпсесты Гомера и Страбона с первоначальным текстом, датируемым VI—VII вв.

Иногда старые тексты счищали из идеологических соображений. Средневековые писцы благочестиво «записывали» языческие или еретические тексты: известна, к примеру, стертая рукопись Еврипида, на которую нанесен новый текст — библейских пророков. Но было бы неверным думать, что «записывание» старых манускриптов всегда диктовалось враждой к языческой книге: Ефрем Сирин, которого стерли в XIII в., принадлежал к числу авторитетнейших христианских авторов.

Современная техника позволяет в некоторых случаях фотографировать (и, следовательно, восстанавливать) счищенный, или, как его называют, угасший текст.


В истории средневекового греческого книжного письма выделяют обыкновенно два периода: первый характеризуется преобладанием унциала, второй — минюскула.

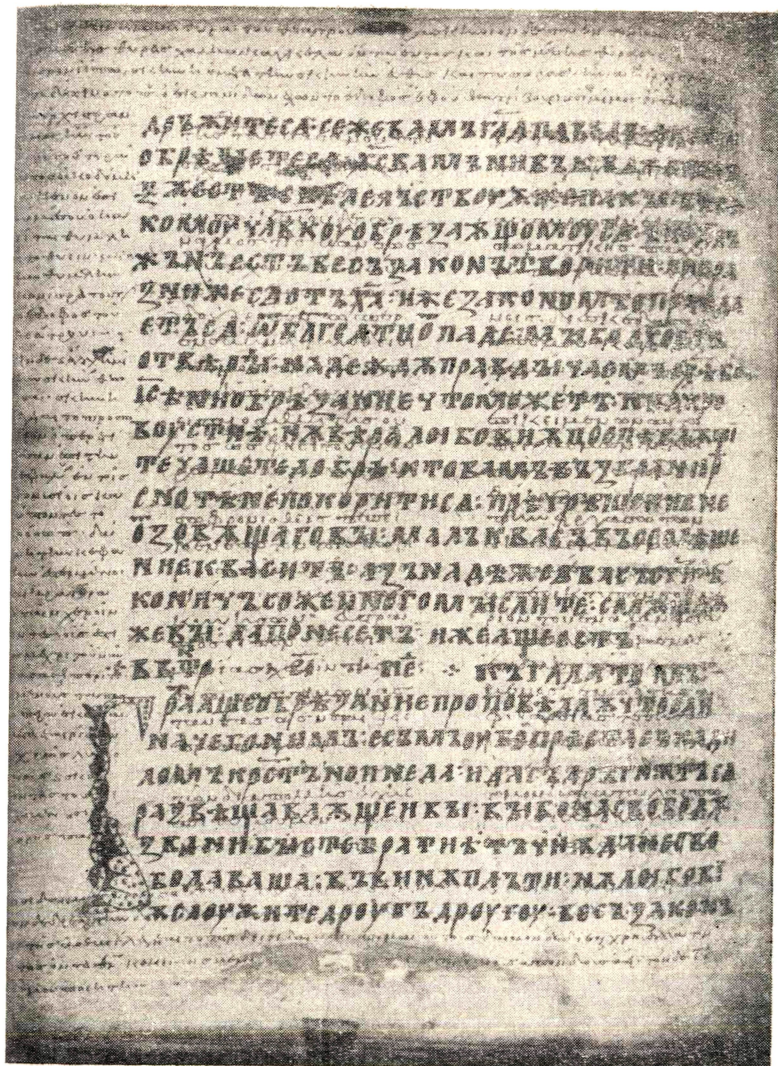
Унциальное письмо (термин «унциал» заимствован из латинской терминологии), иначе называемое маюскульным (от латинского «majus» — «большее»), возникло

применительно к дешевому пишему материалу — папирусу; оно крупное, четкое, со сравнительно небольшим числом сокращений. Все буквы одинаковой высоты и поставлены обособленно, они словно размещаются между двух мысленных линеек. В основе каждой из букв лежит, как правило (исключение составляют кси, ро, ипсилон и еще две-три буквы), один из трех элементов: квадрат, круг или равнобедренный треугольник — так, что диаметр круга и высота треугольника равняются стороне квадрата. Слова унциального текста не разделены, надстрочные знаки отсутствуют. 

Унциальное письмо первых веков нашей эры не оставалось, разумеется, неизменным: по-видимому, известную трансформацию оно претерпело в связи с переходом к кодексу как преобладающей форме книги и с изменением техники письма: вероятно, с конца II в. н. э. угол наклона калама стал значительно более острым. При этом (во всяком случае, до VI в.) эволюция греческого письма шла параллельно развитию латинского, и обе системы оказывали взаимное влияние.

IV в. был выработан канон «библейского маюскула», представленного, в частности, Синайской рукописью Библии. Насколько можно судить по немногочисленным сохранившимся рукописям (особенно скудны уцелевшие фрагменты греческих книг VII—VIII вв., что, скорее всего, объясняется упадком книжного дела в это время), с конца IV в. унциальный канон приобретает черты некоторой искусственности и маньеризма (чрезмерное подчеркивание контрастов в форме букв, внедрение орнаментальных мотивов), и одновременно начинают вырабатываться новые (быть может, локальные) типы унциального письма: их условно называют коптским, «оживальным» (стрельчатым) и литургическим унциалом; «оживальный» имеет иногда славянским.

 В IX в. книжное производство в Византии оживает: во всяком случае, число рукописей этого времени, дошедших до нас, намного превосходит количество манускриптов VII и VIII вв. Около 800 г. был переписан греческий перевод «Диалогов» папы Григория Великого. Позднее появился ряд книг, среди которых много ученых сочинений Птолемея, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Космы Индикоплова, Диоскорида. Эти книги писаны унциалом. Унциал IX в. обладал известными особенностями:



Слѣпенскіи апостолъ, палимпсест.  
 Нижний (смытый) текст — греческий, X в.; верхний — древнеболгарский, XII в.  
 Ленинград, Государственная публичная библиотека  
 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина

буквы наклонены вправо, некоторые из них (например, альфа) приобрели новый облик, появились надстрочные знаки.

Однако уже к началу IX в. в Византии вырабатывается новая форма книжного письма — минускул. Термин этот, происходящий от латинского «*minus*» («меньшее»), не встречается в византийских памятниках и также заимствован из латинской палеографии — сами византийцы говорили об этом письме как о «связном». Минускул был выработан на основе курсива — письма, существовавшего и раньше наряду с унциалом, но предназначенного для написания не книг, а деловых документов, черновиков и частных писем.

В минускульном письме буквы мельче и связаны между собой. Отчего писец получал двойную выгоду: во-первых, минускул позволял экономнее расходовать дорогой пергамен (в частности, благодаря применению сокращений и лигатур — устойчивых «связанных» сочетаний двух или нескольких букв); во-вторых, «связным» (минускульным) письмом можно было писать скорее, чем унциальным, предполагавшим раздельное выписывание каждой буквы. Однако миниатюрность шрифта и связанность букв могли бы привести к неясности почерка, если бы не ряд методов, выработанных в минускульном письме. Во-первых, слова стали отделять друг от друга, чего не было в унциале. Во-вторых, сами буквы строили более сложным и многообразным способом, нежели маюскульные: их располагали на мысленной четырехлинейной сетке так, что тело буквы помещалось между двумя внутренними линейками, а разнообразные «дополнения» — дуги, петли и хвосты — выбрасывались вверх или вниз. Наконец, в минускульном письме последовательно вводились надстрочные знаки. *Име с 37*

Когда и где был выработан минускул, пока остается невыясненным. Древнейшая минускульная рукопись — хранящееся в Ленинграде так называемое Евангелие Порфирия Успенского — была завершена в 835 г. Значит, в первой трети IX в. минускул уже сложился. Иногда ссылаются на любопытную помету на Бодлеянской рукописи XIV в., относящую изобретение минускула ко времени Константина VI и Ирины, т. е. к 90-м годам VIII в., однако на самом деле помета на Бодлеянской рукописи говорит лишь о том, что найдена надпись, выре-



занная на камне, и не имеет никакого отношения к историческому греческому книжному письму.

Выработку минускула часто связывают со Студийским монастырем в Константинополе, при котором существовал скрипторий — мастерская по переписыванию рукописей. Правила Студийского монастыря, составленные его игуменом Феодором Студитом, устанавливали, между прочим, наказания для монахов, трудившихся в скриптории под началом протокаллиграфа. Их карали за поломку калама и за небрежное отношение к переписываемому тексту, за то, что они чересчур доверяли памяти и не заглядывали в оригинал, за несоблюдение надстрочных знаков и знаков препинания и вообще за неподчинение протокаллиграфу. В студийском скриптории возник ряд минускульных книг: один из студийских монахов, Николай, переписал упомянутое уже Евангелие Успенского, а также сборник посланий Феодора Студита. Вместе с тем в студийском скриптории, по всей видимости, продолжали пользоваться и унциалом: со Студийским монастырем связывают обычно унциальный манускрипт Псевдо-Дионисия Ареопагита и унциальные рукописи некоторых сочинений Феодора Студита. Во всяком случае, прямых данных об изобретении минускула студийскими монахами нет.

С IX в. минускул быстро вытесняет унциал из употребления, хотя минускульная реформа ни в коей мере не означала исчезновения унциала — унциалом по-прежнему писали торжественные богослужебные книги (так называемый литургический унциал применялся до рубежа XI—XII вв.). Помимо того, минускул недолго оставался «чистым», он очень рано стал испытывать влияние унциальных форм. Если чистый минускул предполагал (подобно унциалу) размещение букв на черте, проведенной с помощью свинцового диска, то с течением времени минускульная строка оказалась «спущенной» под черту и как бы «подвешенной» к ней.

Именно этим «смешанным» минускулом писаны лучшие византийские рукописи, датируемые XI—XII столетиями. После 1204 г. минускул становится более легким, число лигатур и сокращений возрастает, унциальные и минускульные формы употребляются произвольно, а все оформление книги делается более небрежным. Позднее письмо (XIII—XV вв.) принято называть книжным курсивом.]

[illegible]

Εὐρίπιδος ἡλικία καὶ ὁ χρόνος τῆς ἀποφάσεως  
 γινέσθαι ἐν ταῖς ἡμέραις ἡρώδου τοῦ βασιλέως  
 τῆς ἰουδαίας· ἡ ἐκ τῆς ὁδοματιζήσεως  
 ἡλικία· ὅθεν ἐκ τῆς ἡλικίας αἰμαὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ  
 ἐκ τῶν ὁδοματιζέων ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ ὄνομα



αὐτὸς ὁ  
σαῦτε ἢ  
σαρδῆναι  
ἀμφὸς  
ροῖς ὡς  
οὐ τοῦ  
πράξ  
νοῖς ὡς  
σαι τοῦ



Иначе выглядел литургический минускул — более крупный и праздничный шрифт, с XII в. вытеснивший литургический унциал.

Р Конечно, эта схема не исчерпывает всего многообразия форм византийского письма. Отличались друг от друга рукописи, созданные писцами-профессионалами и просто книголюбями; определенными чертами обладали манускрипты, имевшие специальное назначение — музыкальные или для ученых занятий; особое письмо применялось для деловых документов, особое — для императорских грамот. И все же писец, если только он не архаизировал сознательно свою манеру, писал по нормам своего времени, а эти нормы менялись от столетия к столетию в зависимости от внешних обстоятельств (изменение писчего материала и орудий письма, упадок или рост образованности) и в соответствии с внутренними закономерностями эволюции шрифта: противоречивой тенденции к унификации букв и их спецификации.

В Византийские переписчики заботились о своем читателе. Они снабжали книгу пинаксом-оглавлением, перед отдельными произведениями помещали леммы, дающие внешнюю характеристику этого сочинения (лемма могла разъяснять, кому адресовано послание или по какому случаю была произнесена речь), и, наконец, в схолиях комментировали трудные места текста или увязывали события прошлого с современностью. Византийские комментаторы создали схолии к произведениям классиков: Гомера, трагических поэтов, Аристофана, Лукиана и многих других. Комментировались богословские и юридические тексты. На рукописи схолии обычно выделялись графически: их выписывали на полях или на нижней части листа, причем сплошь и рядом пользовались для этого более мелким письмом.

Помимо манускриптов, созданных в Константинополе и его окрестностях, известны рукописи X—XIII вв., переписанные в разных частях Византийской империи, в Малой Азии, особенно в Опсии и Фракийской феме, на островах, в том числе на Кипре и Крите, и вне Византии: в Италии, Палестине и даже в Алапии и Египте. Рукописи балканского происхождения сравнительно немногочисленны.

Индивидуальной манеры оформления рукописей, индивидуального почерка писца практически не было —

все это зарождается лишь накануне падения Византийской империи и вырабатывается у греческих переписчиков эпохи Возрождения. Существовали лишь локальные варианты господствующего письма (дукты) и особенности, характерные для некоторых мастерских рукописей. Однако византийское книжное письмо было гораздо более унифицировано, нежели продукция западных скрипториев с их ярко выраженными местными чертами.

Казалось бы, индивидуальность писца отчетливее, чем в почерке, должна была проступать в тех пометах, которыми он иногда сопровождал текст. Действительно, некоторые писцы называли свое имя и сообщали дату завершения труда. На древнейшей датированной минускульной рукописи — известном уже нам Евангелии Успенского — переписчик сделал пространную приписку: «Завершена по милости божьей священная эта и богом вдохновенная книга 7 мая XIII индикта в 6343 году от сотворения мира (835 г. — А. К.). Я молю всех читателей помянуть [в молитвах] меня, переписчика, грешного монаха Николая, чтобы встретил я сострадание во дни [Страшного] суда. Да сбудется так, господи. Аминь» <sup>4</sup>.

Иногда упоминают византийские переписчики события политической истории: правление того или иного государя, военную катастрофу и вторжение «безбожных» турок, а иной раз грозные стихийные бедствия — землетрясения и пожары. Но пометы византийских писцов бедны приметами времени и очень часто превращаются в стереотип, переходящий из рукописи в рукопись: мастер говорит о своем смирении или повторяет христианское изречение, вроде часто встречающейся с XII в. фразы: «Рука писавшая сгниет в могиле, написанное остается на долгие годы» <sup>5</sup>.

Рукописная книга — не только хранилище текста, но сплошь и рядом художественный памятник, изготовление которого предполагало решение ряда эстетических задач. Уже сам шрифт под пером мастера приобретал декоративный характер, изящные хвостики и петли минускульного письма сплетались в причудливый узор, радующий глаз. Помимо того, средневековая книга включала в себя специальные иллюстративные элементы, выполнявшиеся либо писцом, либо специальным мастером-рубрикатором, хрисографом («златописцем») или зографом-художником. В изготовлении минология (сбор-

ника житийных рассказов, расположенных по месяцам в соответствии с празднованием дня святого) по заказу императора Василия II (Ватиканская рукопись 1613), где имеется не менее 430 миниатюр, принимало участие по меньшей мере восемь разных художников, оставивших свои имена (исключительный случай!) под некоторыми рисунками. Впрочем, грань между писцом, хрисографом и художником далеко не всегда проводилась четко, и нередко одно и то же лицо выполняло труд представителей разных оформительских профессий.

Для выделения в тексте определенных мест служили особые значки (крестики, звездочки-астериски, стрелки), сделанные цветными чернилами или красками — синей, зеленой, но чаще красной (киноварью), откуда произошли известные понятия «красная строка» и «рубрика» (от латинского «*ruber*» — «красный»).

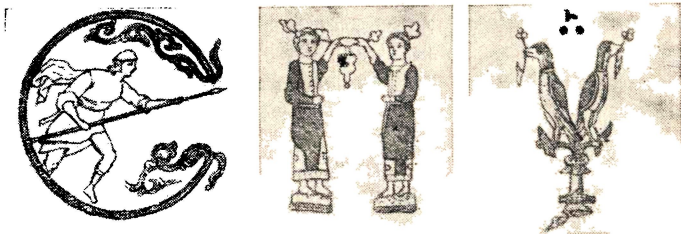
Инициалы, или буквы, — художественно оформленные заглавные буквы, возможно, встречались уже в рукописях VIII в. Во всяком случае, манускрипты второй половины IX и X в. демонстрируют сложившиеся формы инициалов, перераставших иногда в сложные полихромные композиции из условных изображений цветов, рыб и борющихся животных. Наиболее сложны «историзованные» инициалы, в которые вплетены фигуры святых, епископов, евангелистов, императоров. Букву Е подчас составляет человек с удочкой, в букву О может быть вписан садовник с мотыгой.

Для обособления отдельных частей (глав) книги использовались концовки и заставки в виде линий, плетеного орнамента, П-образных рамок или арок. Особенно сложный декор украшал так называемые евангельские каноны — таблицы, отмечавшие совпадающие стихи в разных евангелиях. Они обрамлялись изображением колонн с причудливыми капителями, на которых покоились арки; орнамент — растительный, животный или геометрический — изобилует символами: можно было встретить розетку (знак солнца) или павлина (знак жизни).

Некоторые рукописи (их называют лицевыми или иллюминированными) украшены миниатюрами, которые зографы размещали то среди текста, то на отдельных листах. Эти миниатюры могли выполнять служебную задачу, иллюстрируя или даже разъясняя текст, но некоторые из них имели независимые художественные или даже со-

циальные функции: таковы, например, портреты императоров и знатных лиц, по заказу которых были выполнены иллюминированные рукописи.

Миниатюра — памятник византийской живописи и источник для изучения истории византийского искусства. Миниатюра вместе с тем позволяет познакомиться со многими сторонами быта, которые невозстановимы по письменным источникам, — с одеждой, мебелью, орудиями труда. Очень богаты такими бытовыми и историческими подробностями лицевые манускрипты псалтири, проповедей



Инициалы (буквицы) греческих рукописей

Григория Богослова, «Восьмикнижия», некоторых научных сочинений. А кроме того, миниатюра важна для истории самой книги.

В. М. Конечно, византийские миниатюры более стереотипны, чем книжные иллюстрации, созданные в западных скрипториях. Униформизм централизованного государства налагал свою печать и на искусство книжных мастеров. Стилистические приемы и иконографические принципы варьируют здесь весьма незначительно. Но все-таки варьируют! Все-таки книга оказывается более свободной от влияния традиционных стереотипов, нежели гораздо более бросающиеся в глаза и потому более «официальные» мозаика или икона. Стилистическое своеобразие книжных миниатюр позволяет подчас отделить рукописи, созданные в константинопольских мастерских, от произведений провинциальных переписчиков и хрисографов.

В. Византийская книга с ее миниатюрами, инициалами, заставками коренным образом отличается от античного манускрипта. Общее впечатление от античного свитка —

непрерывность, нерасчлененность, единство всего текста. Слова переписаны монотонным унциалом и не отделены друг от друга. Киноварные значки, инициалы и миниатюры отсутствуют (античность знала книги с рисунками, но это были либо научные книги с пояснительными чертежами, либо «альбомы», где текст служил дополнением к разворачивающейся серии портретов или композиций на тему эпоса). Заставка-«коронис» помещалась только в начале свитка, и все его страницы словно сливались в бесконечную линию. Византийская книга более «индивидуализирована», раздроблена. Лист кодекса живет своей обособленной жизнью: он может стать полем для иллюстрации, обрамленной к тому же декоративной рамкой, которая отчетливо вычленяет миниатюру из ее окружения. Лист дробится киноварными значками, линейками, инициалами, наконец, самой неровностью минускульного письма.

Такова византийская книга. Чтобы читать ее и тем более переписывать, нужно было быть грамотным, нужно было овладеть минимумом знаний. И в средние века, как раньше или позже, эти знания давала школа. Вот почему от книги мы естественно перейдем к византийской школе.

## ОТ БУКВЫ ДО ЗНАНИЯ

Книга — немой наставник и кладовая знаний, дремлющих до времени и готовых, подобно доброму джинну, явиться на помощь тому, кто овладел тайной волшебства. Ибо разве не волшебство — искусство чтения? Разве не вызвало оно суеверный страх еще у современников Гомера, державших в памяти 48 книг «Илиады» и «Одиссеи»? Из условных значков, из ограниченного набора букв алфавита, складываются сложнейшие научные понятия, административные распоряжения, любовная лирика и моральные наставления. Но, чтобы овладеть волшебством чтения и увидеть за свитком и кодексом сумму заложенной в них информации, овладеть их содержанием, надо учиться.

И византийцы учились. И у них были школы и учителя.

Греческое слово «схолэ» означает прежде всего досуг, праздность, отдых, но вместе с тем и ученую беседу на досуге, умственный труд, учебные занятия. Схолиями мы по сей день называем толкования, комментарии. От слова «схолэ» произошло и слово «школа», и адекватные слова в латинском и в новых языках (*school*, *Schule*, *école*).

В сравнении с обитателями Западной Европы византийцы казались грамотеями: живший на рубеже XII—XIII вв. Никита Хониат рассказывает, что крестоносцы потешались над привычкой греков писать и над тем, что они носили с собой тростниковые перья и чернильницы.

Насколько широко было распространено в Византии элементарное образование? Ответить на этот вопрос не просто, ибо никаких статистических данных не существует. Иногда обращают внимание на то, что большинство героев житийной литературы, даже выходцы из семей ремесленников и земледельцев, умеют читать и писать. Но

было бы рискованным абсолютизировать эти данные, которые могли быть навеяны литературным стереотипом. В стране оставалось немало неграмотных. Действительно, 43-я новелла императора Льва VI (886—912) требует, чтобы в городах при составлении документов не привлекались неграмотные свидетели, но не считает возможным применять этот принцип к сельской местности, где, по словам законодателя, воспитание и образование не нашли достаточного места и грамотных людей недостаточно. И точно так же правовед XII в. Вальсамон жалуется, что за пределами «царственного города», Константинополя, немного людей, знающих грамоту. Кресты среди подписей на деловых документах — не редкость (и среди них кресты монахов). Неграмотных монахов упоминают монастырские уставы. Но более того — и на высоком административном посту можно было встретить необразованного человека: таков, например, Подарон, один из высших морских командиров конца IX в. Так как он был неграмотным, император Лев VI распорядился, чтобы специальный судья помогал Подарону разбирать тяжбы между моряками. Об императоре Михаиле II (820—829) говорили, что другой успеет прочитать целую книгу, прежде чем он разберет буквы собственного имени. В VIII в. даже к епископу предъявлялись минимальные требования: согласно 2-му правилу VII Вселенского собора 787 г., епископ должен был непременно знать псалтирь; что же касается остальных книг Писания, то удовлетворялись общим с ними знакомством. В XI в. Михаил Пселл издевался над каким-то священником, который именовал себя грамматиком и нотарием, — это название подходило ему так же, как черным эфиопам эпитет «серебристые». Да, в юности этот человек ходил в школу, но не для того, чтобы учиться, а только для того, чтобы причинять неприятности тем, кто его обучал.

Самое отношение к знанию было двойственным. С одной стороны, сохранялось раннехристианское, аскетическое, враждебное отношение к мудрости мира сего, к мудрости ложной, языческой, бесполезной для «спасения» человека. Излишние знания, казалось, ведут к суемудрию, гордости, к ереси, наконец. Монашеский идеал простоты, юродивого, вызывающего насмешки окружающих, но вместе с тем провидца, которому бог позволил коснуться высших тайн и истин, был распространен в византийской

литературе, и герои агиографических памятников прославляются подчас за то, что они не дотронулись и кончиком пальца до светской, или, как говорили в Византии, «внешней», «за дверьми расположенной», образованности.

А с другой стороны, знания были ценностью. «Апедевсия» (необразованность) служила предметом пасмешек. Над людьми, не умевшими правильно выразить свою мысль, постоянно потешались, а византийские литераторы, особенно с XI столетия, гордились своими знаниями, своей образованностью.

Обучение начиналось в начальной школе. Любопытный памятник, датируемый 300—310 гг., — Греко-латинский разговорник, так называемый *Hermeneumata Pseudodositheana* — позволяет представить школьный день мальчика в эпоху поздней Римской империи. Он встает рано, умывается, приветствует отца и мать и отправляется на занятия. Он уходит без завтрака — ни греки, ни римляне не ели с утра. Его провожает в школу «педагог» — этим словом, буквально означающим «ведущий ребенка», греки называли раба-дядьку. Педагог несет письменные принадлежности — таблички, стиль и линейку. Занятия продолжаются до обеда; мальчик возвращается домой, съедает хлеб, маслины, сыр, несколько сушеных фиг, орехи и возвращается к учителю. И снова — до вечера.

Римская общественная школа выглядела жалкой: лавка, отделенная от улицы занавесью, где человек тридцать учеников рассаживались на скамеечках вокруг «магистра», восседающего на стуле («кафедре»). Учитель получал ничтожное жалование и принадлежал к одной из самых низких общественных категорий.

Византийская элементарная школа немногим отличалась от позднеримской. Ученики (иные из них босиком) прибегали в школу утром по зову била: вероятно, с ними уже не было раба-дядьки, и свои школьные принадлежности (таблички, стиль) они приносили сами. Сидели они на скамеечках или прямо на земле, подстелив овчину, а таблички держали на коленях.

Методы преподавания также оставались старыми. Византийская школа давала прежде всего навыки чтения: сперва запоминали буквы, затем слоги, наконец — целые слова. Слоги, слова и тексты читали хором и заучивали

наизусть. Трудность заключалась, помимо прочего, в том, что к византийскому времени произношение греческих слов не всегда соответствовало начертанию: звук «и», например, обозначался на письме различными буквами (иота, эта) и несколькими сочетаниями гласных (омикрон + иота, эпсилон + иота). При переходе к чтению текстов появлялись новые трудности, ибо разговорный язык византийцев отличался от языка литературы, ориентировавшейся на классические образцы. Дети, следовательно, сразу же оказывались перед проблемой двуязычия.

Учитель начальной школы (грамматист) обучал, кроме того, письму: он писал буквы на табличке, школьник копировал их, стирая время от времени свои неудачные опыты. В программу начальной школы входил и счет: считали по пальцам или с помощью камешков, иногда прибегая к абаку — счетной доске, где были проделаны отверстия, над каждым из которых стояла цифра: при счете в отверстие абака вкладывали пальцы. В Византии до XV в. не знали позиционной системы: цифры обозначались буквами алфавита, и их значение не менялось от «позиции», от места в написанном числе. Так, единица писалась как альфа, десятка — как иота, сотня — как ро, и чтобы изобразить 111, надо было поставить три разных знака: PIA. Такая графика цифр осложняла действия с ними.

Коренное отличие византийской элементарной школы от школы в Западной Европе состояло в том, что в Византии церковь не обладала монополией на образование. Начальная школа была, как правило, частной, училища при церквях и монастырях создавались очень редко, и при этом монастырские училища ограничивались внутренними потребностями — подготовкой будущих монахов.

Одна из таких монастырских школ описана в уставе Бачковского монастыря, составленном в 1083 г. В этой школе обучалось всего-навсего шестеро детей под руководством «старца» из числа священников. Ученики получали от монастыря пропитание и одежду. При этом устав подчеркивает, что обучавшиеся в школе должны были становиться священниками. В другом монастырском уставе (он был составлен в 1210 г. для кипрского богородичного монастыря Махера) было прямо зафиксировано запрещение принимать юных мирян для обучения «священной грамоте»: монастырское обучение предназначалось в

Византийской империи исключительно для будущих духовных лиц.

Относительная прочность античных традиций обусловила то, что христианское влияние далеко не сразу сказалось на образовательной системе. Фрагменты ученических тетрадей из Египта (а они известны вплоть до VII в.) показывают, что торжество христианской религии первоначально не отразилось ни на характере, ни на предмете преподавания. Школьники продолжали переписывать мифологические имена, несмотря на то, что верить в древнегреческих богов стало уже недозволенным.

Позднее, однако ж, в основу школьного обучения была положена псалтирь, или книга псалмов Давида. О святых IX—X вв. их биографы рассказывают, что они, усвоив буквы, начинали читать и учить наизусть псалмы. Что касается других книг, то их читали в школе грамматиста лишь в редких случаях.

Физическая подготовка, занимавшая столь важное место в древнегреческой школе, не входила в программу византийского образования — зато школьники получали знакомство с церковным пением.

Мальчики и девочки поступали в школу грамматиста обычно в шесть-семь лет, хотя строгих возрастных критериев не существовало. Элементарное образование, или, как его называли в Византии, «пропедия» (предварительное воспитание), продолжалось два-три года, и этим, по видимому, для большинства завершалась школьная наука.

Состав учащихся средних школ был, если так можно выразиться, классово ограничен. С одной стороны, высшая аристократия, как правило, не отдавала своих детей в школу — они получали домашнее воспитание, в котором искусству скакать верхом, стрелять из лука и охотиться принадлежало существенное место. С другой — для бедняков продолжение образования было бы непростительной роскошью: и потому, что учителю нужно было платить, и потому, что дети крестьян и ремесленников рано начинали трудовую деятельность. Будущему святому Илье Новому исполнилось 12 лет, когда его отдали в ученики к столяру: он жил в доме мастера, помогал по хозяйству и постепенно овладевал столярным делом. Когда Константин (будущий Михаил Пселл, знаменитый ученый и политический деятель XI в.) завершил к десяти годам начальное образование под руководством какого-то учителя, его

родственники, небогатые константинопольские горожане, решили учить его ремеслу, и только мать умолила их иначе определить судьбу способного мальчика: Константа отправили в обучение «грамматику». Никакого социального или имущественного ценза, ограничивающего образование, в Византии не существовало, тем не менее в средних школах занимались по преимуществу дети чиновников, духовных лиц (в Византии не было celibата, т. е. запрета духовным лицам иметь семью), провинциальных землевладельцев, купцов.

Девочки не поступали в среднюю школу, и к женскому образованию вообще относились пастороженно. Начитанных женщин в Византии до XII в. было немного. Редкий пример — поэтесса Касия, которая, согласно романтическому преданию, находилась среди красивейших девиц, привезенных в Константинополь для того, чтобы император Феофил (829—842) выбрал из их числа себе невесту. Отвергнутая царственным женихом, Касия удалилась в монастырь и в разнообразных эпиграммах бичевала глупцов и невежд. В XII в. в Константинополе было уже немало знатных женщин, которые много читали, покровительствовали ученым и писателям и сами пробовали силы на литературном поприще. Такое изменение взглядов на женское образование очень четко отражает биограф Анны Комнин, одной из ученейших византийских дам, который замечает, что ее родители — император Алексей I (1081—1118) и его монахолюбивая супруга Ирина — досадовали на тягу Анны к знаниям и ограничивали ее чтение. Только после того как Анна вышла замуж, ее муж, видный вельможа и историк Никифор Вриенний, принадлежавший уже к новому поколению, помог ей познакомиться с тем, что в детстве и отрочестве оставалось для нее запретным.

В поздней Римской империи почти каждый значительный город имел свою среднюю школу — в Византии начиная с VII—VIII вв. среднее образование сосредоточивалось почти исключительно в Константинополе. За пределами столицы редко удавалось найти опытного учителя. В этом отношении очень показателен рассказ «Жития Константина Философа»: будущий просветитель славян вырос в Солуни, одном из крупнейших городов империи; он рано почувствовал тягу к знаниям, но в Солуни Константин так и не смог пойти дальше началь-

ного образования — в городе не было человека, способного научить «художеству грамматическому», кроме какого-то странника, когда-то знавшего, но потом забывшего науку грамматики. Любознательный юноша отправился в столицу, где действительно изучил Гомера и геометрию, диалектику (логику) и философию, риторику, арифметику, астрономию и музыку. Агиографы единодушно рассказывают о молодых людях, вынужденных для продолжения образования покидать родину и переселяться в Константинополь. Но нельзя думать, будто Константинополь кишел учебными заведениями. Французский ученый П. Лемерль предполагает, что в Константинополе первой половины X в. было всего 12 средних школ, в каждой из которых обучалось 20—40 человек<sup>1</sup>. Следовательно, в огромном городе (а по существу во всей Византийской империи) лишь несколько сотен мальчиков могло ежегодно получить среднее образование. Конечно, цифры эти весьма условны, и все же они дают ориентировочное представление о том, насколько узкий слой византийцев был затронут средним образованием.

Социальное предназначение среднего образования (сами византийцы называли его «педία» — «воспитание» или «энкиклиос педία» — «всеохватывающее воспитание») понималось в Византии весьма утилитарно. Автор «Жития Никифора Милетского» (X в.) говорит, что многие родители стремились отправить детей в школу потому, что образование могло послужить источником богатства и должностной карьеры. И в самом деле, анонимный летописец, известный под именем Продолжателя Феофана, рассказывает, что император Константин VII Багрянородный (913—959) покровительствовал константинопольскому государственному училищу: он назначал туда учителями видных чиновников и церковных иерархов, а из выпускников набирал судей, податных сборщиков и митрополитов. Немногочисленные выпускники средней школы, по всей видимости, с трудом удовлетворяли потребности Византийской империи в кадрах светской и духовной администрации. И так как получали «энкиклиос педия» по преимуществу дети и племянники чиновников и видных духовных лиц, в Византии, несмотря на отсутствие формальных сословных границ, постепенно сложилась служилая знать, которая не была наследственной по закону, но фактически передавала по наследству свои при-

вилегии и должности: из поколения в поколение представители этих фамилий занимали посты начальников административных ведомств в столице, наместников провинций, судей, податных сборщиков и контролеров; из той же среды рекрутировалась и церковная элита. Образовательный ценз оказывался мощным социальным фактором, но в свою очередь его приобретение было определено социальным статусом.

«Энциклиос педиа» должна была готовить светских и духовных администраторов, но программа средней школы лишь в очень незначительной степени была ориентирована на выполнение этой задачи.

Византийская школа знакомила с тем, что греки называли «оксиграфией» или «тахиграфией» — искусством сокращенного письма под диктовку, что было весьма важно для будущих чиновников. В «Житии Симеона Богослова» рассказывается, как мальчика, которого готовили к чиновной карьере, родственники отдали прежде всего грамматисту; затем он в совершенстве овладел тахиграфией, но «эллинизацией» своей речи, светским образованием и риторикой пренебрег, ограничившись только «так называемой грамматикой». Возможно, следовательно, что тахиграфия предшествовала грамматике.

Иной раз мальчики 11—12 лет посылались на выучку к нотариам — они обучались составлению документов: купчих и дарственных грамот, завещаний, договоров об аренде.

Однако не приобретение этих практических навыков составляло существо византийского среднего образования. В основу византийской «энциклиос педиа» были положены принципы античной образовательной системы. В римской школе грамматика, риторика и философия составляли так называемый тривиум (буквально «перекресток трех дорог»), первую ступень семи свободных искусств, за которым следовал квадривиум («перекресток четырех дорог»). Программа изучения семи свободных искусств, существовавшая в ранней Римской империи, упомянута еще Марцианом Капеллой на самом закате римской истории. Она сохранилась и в западной средневековой школе, и в какой-то мере в византийской.

Обучение начиналось с грамматики, под которой понималось искусство читать и толковать античных авторов. Эта дисциплина не сводилась только к изучению склон-

ний и спряжений, орфоэпии и метрики, в неё включались элементы античной истории и географии, а также мифологии, без знания которой древние книги оставались бы непонятными.

Пселл рассказывает, что под руководством грамматика он в течение одного года выучил наизусть всю «Илиаду» и умел не только декламировать ее, соблюдая размер (трудность состояла в том, что гекзаметр «Илиады» был основан на соблюдении долготы и краткости слогов, тогда как во времена Пселла различие долгих и кратких гласных в греческом языке уже исчезло), но и разбирать текст, отмечая удачные метафоры и гармонию словосочетаний.

Гомер, несмотря на его архаизм, составлял основу «грамматического» образования византийца. Его постоянно цитировали, даже не утруждая себя добавлением: «Как сказал Гомер». Помимо того, в школьную программу входило по три трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида, Аристофан, а также отрывки из Гесиода, Пиндара и Феокрита.

Ученики должны были научиться читать и понимать классических авторов, овладеть правильным произношением, познакомиться с принципами стихосложения и прежде всего усвоить орфографию и грамматические нормы. Основным пособием по грамматике оставалась книга Дионисия Фракийца, писавшего еще во II в. до н. э., к которой византийцы добавили разнообразные толкования и схолии.

Византийские грамматические пособия сообщали, как правило, лишь формальные сведения.

В средневековом славянском переводе или пересказе сохранился большой отрывок из византийского сочинения по грамматике, особенно интересного потому, что оно приписывается видному ученому VIII в. Иоанну Дамаскину. В нем автор намеревался изложить учение о восьми частях речи, на самом же деле он крайне сухо и сжато перечислил элементарные сведения по этимологии. Ученику сообщалось, что залогов три, а наклонений шесть, что лиц три, равно как и чисел, и т. д.

Была заплачена дань и христианской идеологии. В круг школьного чтения включили некоторые памятники христианской литературы, прежде всего Библию с разнообразными комментариями к ней. Образованный византиец должен был цитировать не только Гомера, но и псал-

мы или Книгу бытия. Штудировали также христианских поэтов, особенно охотно Григория Богослова, жившего в IV в. К учебнику Дионисия Фракийца было добавлено пособие, составленное Георгием Хировоском в VI в. Оно называлось «Эпимерисмы» и представляло собой изложение греческой грамматики на материале псалтири.

Методика обучения состояла в том, что учитель читал и толковал текст, задавая вопросы. Морализация по поводу прочитанного оказывалась непременным условием преподавания, а так как прямой смысл текста далеко не всегда давал материал для соответствующих моральных заключений, аллегорическое истолкование и обнаружение «внутреннего смысла» составляло существеннейший элемент византийской герменевтики.

Риторика (ораторское искусство) изучалась для того, чтобы активно овладеть речью — уметь красиво говорить и писать. На практике грань между грамматиком и ритором была довольно смутной, и одно лицо преподавало обе дисциплины. Нужно учесть, что византийцы вообще не всегда проводили четкие разграничительные линии между смежными функциями, недаром у них создавалось много судебных ведомств и много казначейств, обязанности которых сплошь и рядом пересекались.

Образцом ораторского искусства оставался Демосфен. Ему и другим мастерам античного красноречия должны были подражать ученики византийской школы, составляя пересказы и переложения (надо было уметь передать в прозе речь того или иного из гомеровских персонажей) или экфразы — описания памятников искусства. Особо заботились об эпистолярной технике. Для византийского чиновника было важно хорошо написать письмо и хорошо произнести похвальную речь.

Риторическое изящество подчас заставляло жертвовать ясностью, намеков как бы господствовал над рассказом.

Вот письмо митрополита синадского Льва, адресованное константинопольскому чиновнику и сыну видного чиновника Иоанну. Письмо, несомненно, деловое: оно отправлено из Рима, куда Лев Синадский прибыл в 997 г. во главе византийского посольства. Ситуация была сложной: папа Иоанн XV умер в 996 г., а его преемник Григорий должен был бежать из Рима. Лев Синадский вмешивается в политическую борьбу и содействует избра-

нию антипапы, которого он именует Филагатом; это прозвище он дает антипапе явно иронически, ибо оно означает «Добролюб», а Лев определенно испытывает антипатию к антипапе.

«Я знаю,— пишет Лев,— что ты станешь смеяться, подозреваю, что ты станешь насмехаться, услышав, что я избрал папой Филагата, которого предпочел бы удушить; прибавлю, что он заслужил тысячи ураганов! Я вижу, как ты хохочешь при этом известии, радуюсь и желаю тебе всегда смеяться. В самом деле, ты либо не понимаешь, либо понимаешь многое и смеешься только от избытка зла. Но если так, то, право, ты ошибаешься; ты не столько блажен — я скорблю об этом,— сколько заслуживаешь прощения, особенно если за твоим смехом последует вольный или невольный плач. А пока радуйся, смейся, процветай, будь здоров и помни обо мне. Рим нуждается в силе (в оригинале игра слов, ибо по-гречески «роми» — и Рим, и сила.— *А. К.*), в сильном, мощном муже, в твердости мысли, а этим, я знаю, наш великий и возвышенный государь обладает в большей мере, нежели его предшественники,— ты сам это знаешь лучше других, лучше, чем сподвижники и тайные советники царей. Не думай, что это шутка,— я пишу истину»<sup>2</sup>.

Для обучения ораторскому искусству и искусству писать в XI—XII вв. охотно применяли сходы — импровизации на произвольную, далекую от реальности тему, чем не брезговали и такие опытные литераторы, как Михаил Пселл и Феодор Продром.

В соответствии с античным понятием о тривиуме в состав «энкликлиос педиа» обычно включалась и философия, однако остается недостаточно ясным, что, собственно, разумели византийцы под термином «философия».

Иоанн Дамаскин толковал философию очень широко: он разделял ее на теоретическую, которая охватывала богословие (иногда философия вообще приравнивалась к богословию, и под словом «философ» подчас разумели монаха), математическую четверицу (т. е. арифметику, музыку, геометрию и астрономию — что соответствовало латинскому квадривиуму) и физиологию (средневековая физиология — это учение об окружающей нас природе: растениях, животных, минералах), и на практическую; в состав практической философии Дамаскин включал этику, политику и эконоимику. Но, судя по всему, практическая

философия не была в Византии предметом специального преподавания.

В других случаях философию противопоставляли математической четверице, однако соотношение этих двух дисциплин рисовалось по-разному. Диакон Игнатий, биограф константинопольского патриарха Никифора (806—815), рассказывает, что его герой сначала изучил четыре математические дисциплины (Игнатий указывает, что одна из них — астрономия — рассматривала движущиеся тела, другая — геометрия — имела дело с неподвижными, третья — музыка — касалась отношений между числами, и, наконец, арифметика трактовала числа вне отношений, т. е., добавим от себя, в первую очередь таинственный, мистический, пифагорейско-платоновский «смысл» числа), а потом, покончив с «этими четырьмя служанками истинной науки», перешел к их госпоже — философии. Напротив, автор византийского учебника, точно датированного 1008 г., понимает под философией диалектику (в современном значении — логику) и отводит ей первую часть книги, за которой следуют еще четыре: об арифметике, музыке, геометрии и астрономии. Здесь философия не завершает образовательную программу (как в рассуждениях диакона Игнатия), а выступает в качестве введения в квадриум.

Разделение математики на четыре дисциплины (арифметику, геометрию, музыку и астрономию) утвердилось в Византии не без борьбы: в V в. философ-неоплатоник Прокл предлагал расчленить ее на восемь ветвей, две из которых (теоретическая арифметика и геометрия) должны были составлять высшую ступень, тогда как счет (логистика), геодезия, оптика, музыка, механика и астрономия — дисциплины, связанные с рассмотрением чувственных предметов, — низшую. Однако классификация Прокла не была принята. Впрочем, еще в XII столетии Иоанн Цец упоминал оптику наряду с традиционным набором изучаемых в школе дисциплин.

Изучение иностранных языков не входило в программу византийской школы, и если византийцы овладевали ими, то, видимо, практически, в ходе непосредственного общения с иноземцами. В XII в. Цец гордился своими знаниями в турецком, аланском, латинском, русском, еврейском языках, но, судя по приводимым им фразам, его сведения ограничивались элементами бытовой лексики.

Знание иностранных языков было настолько редким в Византии, что в середине XII в. произошел такой, казалось бы, невероятный случай. Аароний, переводчик Мануила I, осмелился в присутствии всего двора подавать иноземным послам советы в ущерб интересам императора, и только жена Мануила, немка Берта Зульцбахская, поняла его речи и раскрыла измену. Интерес к иностранной литературе был ничтожен, переводов с чужих языков почти не делали. Брешь в этой надменной изоляции стали пробивать уже в XI в., когда усилились контакты с Западом. В XIII столетии Максим Плануд перевел многих латинских классиков: дистихи Катона, «Метаморфозы» и «Героинь» Овидия, цicerоновский «Сон Сципиона», «Галльскую войну» Цезаря, а из более поздних авторов — Августина и Боэция. Димитрий Кидонис, один из виднейших ученых XIV в., был поклонником западного богословия и переводил с латинского языка Августина, Ансельма Кентерберийского и Фому Аквината. Греческие ученые начали присматриваться к персидской и арабской науке, особенно к математике. Византийская «энкиклиос педиа» менее всего была нацелена на то, чтобы сообщить учащимся практические сведения: даже математические дисциплины трактовали скорее о высших сферах и мистике чисел, чем об измерении Земли. Функция средней школы оказывалась в большей мере социальной, нежели познавательной. С помощью грамматики и риторики византийская система образования прививала учащимся знание мертвого языка, на котором не говорили и который не понимали широкие массы населения империи. Это был язык, осложненный развитой системой образов, сравнений и ассоциаций, язык, понятный только немногим избранным, которые обучались грамматике и риторике. Школа, таким образом, создавала своего рода интеллектуальную элиту, отдаленную от народа. Она давала не столько знания, сколько сознание превосходства, сознание принадлежности к господствующей верхушке.

Познакомиться с организацией византийской средней школы позволяет дошедшая до наших дней обширная переписка одного константинопольского учителя, жившего в начале X в. Имя его, к сожалению, не обозначено в рукописи. Это был светский человек, и школа его являлась частным учреждением, хотя, по всей видимости, под церковным патронатом — во всяком случае, аноним-

ный учитель получал одно время от церкви ежегодно вспомоществование, «хлебушек», как он сам это называет, но был лишен церковных выдач из-за интриг каких-то врагов. Среди бывших учеников школы, с которыми учитель поддерживал переписку, немало титулованных особ, занимавших видные государственные и церковные посты, да и дети, которые у него учились, принадлежали к той же чиновной среде (любопытно, что учитель обычно ведет переписку не с отцом, а с дядей своего ученика).

Положение анонимного учителя довольно скромное: он считает свое жилище бедным и жалуется, что приходится довольствоваться одним слугой. «Мне хуже теперь, чем подноскику воды», — заявляет он в одном из писем<sup>3</sup>. Может быть, он преувеличивает, но во всяком случае, забота о заработке не сходит со страниц его писем. Учительство явно не дает достаточно средств, ему приходится подрабатывать переписыванием рукописей. Каждый ученик на счету: учитель жалуется, что его соперники переманивают школьников, уговаривает своего корреспондента не забирать племянника из школы — еще немного, и успехи юноши станут заметными. Учительская работа оплачивается «с головы». Если в поздней Римской империи пытались ввести тариф на всякий труд и учителям, в частности, была определена твердая ставка за каждого ученика, то наш учитель, по-видимому, всякий раз заключает контракт на обучение, договариваясь об оплате. Едва контракт заключен, как он уже просит свой гонорар — «ведь не пророчествует Феб без бронзы и воин не становится в строй без оружия»<sup>4</sup>.

В школе анонимного учителя воспитанники разного возраста и разной подготовки, однако он единственный их преподаватель. Старшие ученики, «избранные», как называет их учитель, вели занятия с младшими и до какой-то степени принимали участие в управлении школой, однако их связь с учителем оставалась сугубо личной, живившейся на моральных принципах, а не на правовых нормах. Ученики обычно жили в доме учителя.

Автора писем особенно заботит мобильность византийской школы: ученики переходят от одного преподавателя к другому, их ничто не связывает с местом обучения.

Описанная в «Житии Афанасия Афонского» константинопольская школа конца X в. представляла собой более крупное учебное заведение. Здесь было несколько учи-

телей, причем новые преподаватели избирались совместно учителями и учениками. Школа, таким образом, выступает как средневековая корпорация, только менее стабильная, чем соответствующие учреждения на Западе. К тому же право избирать учителей было здесь довольно ограниченным. Из того же жития известно, что старших преподавателей пазначал император.

Помимо частных общеобразовательных школ, в Византии (во всяком случае, в XI—XII вв.) создавались и специальные государственные училища. Об одном из них рассказывает Анна Комнин. Это был основанный Алексеем I орфанотрофион — интернат, или приют, для сирот. Там жили и учились не только греки, но и иноземцы — латиняне и скифы, по терминологии писательницы. Что касается программы обучения, то Анна прямо говорит об «энкиклиос педиа» и называет училище грамматической школой.

Восприятие школьной премудрости требовало старательности. В конце недели учитель проверял усвоенное, ему помогал протосхол, старший среди учеников. Розга при этом рассматривалась как нормальное воспитательное средство. Повествуя о школьных годах своего брата Иоанна, Николай Месарит, писатель, живший на рубеже XII—XIII вв., отмечает два его свойства, особенно ценившиеся в византийской школе: во-первых, Иоанн обладал отличной памятью и целые тома запоминал наизусть, а во-вторых, он хорошо выполнял сочинения. Именно поэтому учитель никогда не бранил его и не бил по щекам.

Византийцы, не надеясь только на труд и усидчивость, уповали также на чудо и божественную помощь. Иоанн Златоуст сохранил молитву школяров: «Господи Иисусе Христе, раствори уши и очи сердца моего, чтобы я уразумел слово твое и научился творить волю твою». Впрочем, обращались они не только к всевышнему, но и к магии. Так, ребенка приводили в церковь и, написав чернилами на священном дискосе 24 буквы греческого алфавита, смывали их вином, и эту смесь вина и букв ученик выпивал под чтение отрывков из Нового завета. Агиографы обычно рассказывают, что их герои учились с легкостью, но были среди византийских святых и такие, которым никак не удавалось овладеть чтением и письмом, откуда чудесное просветление, ниспосланное свыше, не открывало им сразу всю премудрость.

Византийская средняя школа была светской, включавшей лишь элементы церковного образования. Знания, которые она давала, византийцы именовали «внешними» и противопоставляли их тому «духовному», что человек мог получить в монастыре или под руководством наставника-аскета в процессе духовного воспитания. Отношения, складывавшиеся в ходе такого воспитания, обыкновенно обозначались в соответствии с терминологией, заимствованной из школьной жизни: наставника именовали учителем (дидаскалом), неофита — учеником. Однако духовное воспитание ограничивалось религиозно-этической сферой. Ученик не получал знаний, он усваивал правила поведения и навыки правильной молитвы. Агиограф Маркела, архимандрита константинопольского монастыря Бодрствующих в V в., повествует о том, как его герой в юности посещал школу в Антиохии и овладел «внешней» наукой и уже после того нашел себе дидаскала, который обучил его Писанию и открыл ему истину. В Эфесе Маркел прославился как опытный каллиграф; он переписывал, однако, исключительно божественные книги. Уже взрослым человеком он избрал нового дидаскала — подвижника Александра. Александр проживал в Константинополе, и к нему собиралось множество «учеников» из столицы и из Вифинии. Под руководством Александра Маркел, по словам его жизнеописателя, усвоил аскетизм, простоту нрава, точное понимание Писания, любовь к странникам, смирение, — короче говоря, все необходимое для служения господу. Наставление в вере, как явствует из «Жития Маркела», не предполагает сообщения каких-либо знаний, кроме четкого (т. е. однозначного) понимания Библии.

Мы приравняли с большим или меньшим основанием византийскую «пропедиа» к начальному образованию, а «энкиклиос педиа» — к среднему. В Византии существовали и учебные заведения, сопоставимые с университетами, с высшей школой, хотя, как мы увидим далее, критерии разделения византийского «университета» и средней школы не всегда достаточно определены.

Несмотря на тенденцию к политической и административной централизации, поздняя Римская империя не достигла (и, возможно, даже не ставила себе задачу достичь) культурной унификации. Огромная страна говорила на разных языках: греческий и латынь были наибо-

лее распространенными среди них, но употребление иудейского и коптского тоже имело давние традиции. Провинциальные центры являлись сплошь да рядом с центром культуры, науки и образования. Афины IV—V вв. сохраняли репутацию «университетского» центра. Ливаний, антиохийский оратор, сам учившийся в Афинах, живо изобразил студенческую жизнь этого города: соперничество различных софистов, переманивание учеников, их попойки и потасовки.

В Александрии, которая славилась своими поэтами, грамматиками, преподавали также астрономию, геометрию и медицину. Синесий, ученый и публицист IV—V вв., ставит Александрию выше Афин, вопреки тому, что учившиеся в Афинах почитали себя за полубогов, а всех прочих — за полуослов. Возникла в Александрии и христианская богословская академия.

Бейрут был центром юридического образования. О специальном составе бейрутских студентов интересные сведения сообщает тот же Ливаний. В его время (третья четверть IV в.) туда приезжала аристократическая молодежь: знание юриспруденции открывало путь к карьере. Студенты создавали сообщества — для занятий и шумных развлечений. Они изучали под руководством «учителей Вселенной», как именовались бейрутские профессора, латинский и греческий, памятники римского права. Обучение продолжалось около четырех лет. Пожалуй к числу высших учебных заведений можно отнести и школы в Антиохии, Газе, Кесарии Палестинской.

Постепенно, однако, провинциальная школа перестала существовать. Это было вызвано различными причинами. Огромную роль сыграла и христианская пропаганда, направленная против античной науки вообще. Правящие греческие отцы церкви IV в. довольно терпимо относились к языческой науке; многие из них сами окончили языческую школу и в классическом наследии усмотрели прекрасное средство для подготовки к богословским занятиям. По мнению Василия Великого, внешняя ученость, несмотря на все пороки языческого мировоззрения, служит к украшению души христианина, и Григорий Богослов в надгробном слове Василию говорил о богатствах, которые заключены в светских науках и которые с пользой для себя может извлечь благочестивый человек. Но уже Иоанн Златоуст на рубеже IV и V в.

осуждал светскую школу гораздо решительнее: риторика, по его словам, — пустое украшательство речи; образование имеет узкоутилитарные цели и готовит человека к погоне за карьерой; оторванные от семьи, юноши забывают о благочестии. Высшая школа стала как бы символом язычества, и христианину не следовало становиться преподавателем в ней. Были предприняты попытки создать в противовес светскому университету высшую богословскую школу; мы говорили уже об Александрийской академии, помимо того, несториане, расходившиеся с ортодоксальной церковью, открыли теологическое училище в Нисибии, а Кассиодор, ученый и политик начала VI в., задумывал организовать по образцу Александрии и Нисибии школу в Риме. Впрочем, в Нисибийской школе, несмотря на ее теологический характер, продолжалось изучение светских наук, особенно медицины.

Далее, централизация империи неумолимо наступала на локальные вольности. По-видимому, в 529 г. Юстиниан I запретил преподавать философию и право в Афинах. Недавние раскопки в этом городе обнаружили близ холма Ареопага просторное здание V в. н. э., которое, по мнению археологов, служило частной философской школой. В начале VI в. оно было преобразовано в христианское культовое здание и к нему был пристроен баптистерий (крещальня). Была ли эта метаморфоза результатом указа Юстиниана, или, наоборот, предшествовала ему и отражала сдвиг в общественном мнении, пока сказать невозможно. Указ Юстиниана, надо думать, распространился и на другие университетские центры.

Внешние причины также способствовали исчезновению провинциальных высших школ. Бейрутская школа, разрушенная землетрясением 551 г., больше не восстанавливалась. Когда же в середине VII в. арабы овладели Египтом и Сирией, восточные университетские города были отторгнуты от Византии.

Афины, правда, сохраняли некоторое время значение научного центра. Еще на рубеже VI—VII вв. в Константинополе славился «некий учитель из Афин», а полулегендарное латинское «Житие св. Эгидия» (конец VII в.) сообщает, что тот был родом из Афин и изучал в этом городе «свободные науки». Еще век спустя Стефан Сурожский (если только верить его агиографу) застал в Афинах философов и риторов, в беседах с которыми довершал свое

образование. Но постепенно и афинские высшие школы сходят на нет. Высшее образование сосредоточивается в Константинополе.

Об устройстве Константинопольской высшей школы мы узнаем из указа Феодосия II от 425 г. Университет назывался «auditorium» (от латинского «audire» — «слышать»), ибо и в высшей школе обучение было основано на выслушивании объяснений учителя. Он размещался в экседрах (залах с нишей) на южной стороне константинопольского Капитолия, построенного Константином I; экседры выходили на улицу.

В отличие от других ранневизантийских школ константинопольский аудиторий — государственное учреждение. Его профессора считались государственными служащими и пользовались привилегиями, которые не распространялись на обычных городских грамматиков и риторов; они составляли замкнутую корпорацию и носили особую одежду. Все лица, не включенные в профессорскую корпорацию, должны были прекратить публичное преподавание в столице — в противном случае им угрожала ссылка.

Указом Феодосия аудиторию было определено иметь 31 профессора: десять преподавали греческую грамматику, десять — латинскую; трое были учителями латинского красноречия, и пятеро — греческого; наконец, двое вели курс права и один — философии.

На первых порах Константинопольский университет по своему духу мало чем отличался от других высших школ: он поддерживал тесный контакт с Александрией, Афинами, Бейрутом, его профессора были по преимуществу нехристиане. Однако уже в конце V в. язычество константинопольской профессуры стало выглядеть одиозно: под давлением государства кое-кого из учителей аудитория предали суду, другие предпочли принять новую религию. Дальнейшая судьба аудитория недостаточно ясна.

Известно, что константинопольская высшая школа продолжала функционировать при Юстиниане I, но сведения о константинопольском высшем образовании после Юстиниана крайне смутны. Сохранились, собственно говоря, лишь имена двух профессоров. Один из них — уже известный нам Георгий Хировоск, создатель ряда филологических трудов, которого именовали грамматиком и учителем Вселенной. Предполагают, что он жил во второй половине VI в., но эта дата не является бесспорной.

Другой — Стефан Александрийский, преподававший в Константинополе при императоре Ираклии (610—641) математику и некоторые другие науки. Он также назывался учителем Вселенной. Однако возникает вопрос, достаточно ли этой титулатуры, чтобы допустить существование университета в Константинополе на рубеже VI и VII вв.?

До последнего времени считалось, что в VII—VIII вв. в византийской столице действовала Патриаршая академия. Сравнительно недавно П. Лемерль убедительно опроверг это общепринятое суждение. Во-первых, титул учителя Вселенной, который носил, в частности, математик Стефан Александрийский, не имел отношения к патриаршеству, возглавлявшемуся вселенским патриархом (эпитет появляется с VI или VII в.): мы видели, что еще в V в. так титуловали виднейших профессоров Бейрутской школы права. Во-вторых, поздняя легенда об учителе Вселенной, который вместе с 12 учениками и помощниками преподавал «всякие науки» поблизости от Халкопратии, не соответствует действительности. Рассказ, будто император-иконоборец Лев III (717—741), возмущенный противодействием константинопольских учителей его реформам, распорядился сжечь здание академии вместе с книгами и профессорами, скорее всего, следует отнести к числу фантастических слухов, которые потомки распространяли о первых иконоборцах.

Таким образом, о Константинопольском университете в VII—VIII вв. мы практически ничего не знаем. Может быть, в эту пору он разделил судьбу провинциальных учебных заведений.

Возрождение Константинопольской высшей школы относится ко времени после иконоборчества и связано с именами кесаря Варды и Льва Математика.

Лев, получивший прозвища Философа и Математика, был родом из Фессалии, в Константинополе он прошел подготовку в школе грамматика, а для продолжения образования (по риторике, философии и математике) направился на остров Андрос, где отыскал какого-то ученого мужа, имя которого не сохранилось. Образованность Льва, редкая по тем временам, принесла ему известность — последний император-иконоборец Феофил (829—842) пригласил его на государственную службу и назначил преподавателем в школе при церкви Сорока мучеников. Вскоре Льва рукоположили солунским митрополитом.

После смерти Феофила иконоборческие гонения прекратились, и в 843 г. было восстановлено иконопочитание. Одним из мероприятий нового правительства, возглавленного дядей малолетнего императора Михаила III (842—867) кесарем Вардой, явилось создание государственной школы, которой руководил Лев Математик. Ей выделили помещение в дворцовой зале — Магнавре. Школа эта имела отчетливо выраженную светскую программу, но действительно ли университетскую, сказать трудно: скорее всего, она ограничивалась предметами общеобразовательного цикла — философией, арифметикой, геометрией, музыкой. Латинская грамматика и латинское красноречие уже не входили в программу, и это естественно: начиная с VII столетия греческий язык сделался единственным официальным языком империи, языком канцелярии и литературы. Не нашло себе места в системе обучения и право.

Мы знаем имена некоторых преподавателей Магнаврского училища. Некто Комит, автор эпиграмм и толкователь Гомера, обучал грамматике, Феодигий — астрономии. Обычно считают, что Фотий, константинопольский патриарх, также был одно время профессором Магнавры, но прямых данных о его учительской деятельности нет.

При Константине VII Багрянородном в столичном училище продолжали преподавать философию, риторику, геометрию и астрономию, но мы не знаем, отличался ли там курс наук в принципе от курса средних школ.

Когда позднейшие византийские писатели упоминают о состоянии просвещения конца X — начала XI столетия, они подчеркивают обычно его низкий уровень. По словам Михаила Пселла, ни один из городов — ни Афины, ни Никомидия, ни египетская Александрия, ни древний или новый Рим — не блистали в ту пору научными достижениями. И Анна Комнина замечает, что от Василия II (976—1025) до Константина IX Мономаха (1042—1055) образование находилось в пренебрежении, да и отец писательницы, Алексей I, застал его в жалком состоянии. Справедливы ли эти жалобы и действительно ли царствование сурового аскета и воина Василия II ознаменовало отход от тех — не очень значительных — успехов, которых византийская школа добилась при кесаре Варде и при Константине VII, сказать непросто. Быть может, писатели конца XI и XII в. острее чувствовали не-

достатки средневековой образовательной системы, нежели их предшественники. Как бы то ни было, к середине XI в. относится первая попытка воссоздания в Константинополе настоящей высшей школы.

Константинопольская высшая школа была основана специальным указом Константина IX Мономаха, регламентировавшим ее деятельность. Она не была университетом в том смысле, в каком это слово понималось на средневековом Западе, т. е. не была свободной корпорацией профессоров и студентов. Как и аудиторий Феодосия II, школа XI в. — государственное учреждение.

Она состояла из двух факультетов, или, вернее, объединяла две самостоятельные школы: юридическую и философскую. Первая находилась во вновь отстроенном монастыре св. Георгия, иначе называемом Манганими, который пользовался покровительством государя, разместившего там также некоторые государственные учреждения; вторая, возможно, в портике Ахилла, неподалеку от Августеона — главной константинопольской площади.

Новелла Константина IX посвящена организации юридической школы, или «музея законодательства», как ее именовали современники. Автор новеллы (видный ученый Иоанн Мавропод) оплакивает печальное состояние подготовки юристов, не имевших ни специальных учителей, ни особых помещений, в результате чего законодательство и судопроизводство оказались подвергнутыми «всем опасностям житейского моря». Молодежь, искавшая возможности получить юридическое образование, сетует он, попадала под влияние случайных людей, преподносивших ей вместо знания произвольные домыслы. Все это, по словам Мавропода, заставило упорядочить совершенно запущенное дело подготовки правоведов, чему и должен служить юридический факультет — училище законоведения.

Во главе факультета был поставлен «номофилак» — «хранитель законов». Он считался высоким должностным лицом, причислялся к синклитикам, т. е. к высшему чиновничеству, и по своему рангу непосредственно следовал за «начальником судов» («эпй крисеон»), одним из главных судей в стране. Номофилак пользовался правом личного доклада императору. Его жалование составляло 4 литры золота в год, т. е. 288 золотых номисм (перперов); помимо того, он получал шелковую одежду и пищевое довольствие, а также подарок на пасху.

Должность номофилака объявлялась пожизненной, однако его несменяемость оказывалась весьма иллюзорной. Новелла предусматривала ряд казусов, которые могли послужить причиной его отставки: невежество, небрежное выполнение обязанностей, неуживчивость, бесполезность на своем посту и, наконец, простое несоблюдение предписаний новеллы. Как видно из этого довольно неопределенного списка возможных прегрешений, у византийских властей не было недостатка в поводах для отстранения неугодного начальника «музея законодательства».

В новелле указывалось также, что номофилаку надлежит не только знать законы, но и в совершенстве владеть «языками ромейского и римского законодательства». Ромеями византийцы называли себя, а свое государство — Царством ромеев; ромейский язык, следовательно, — греческий, тогда как язык римского законодательства — латынь. Латынь давно уже вышла в империи из употребления, ее знали плохо и в переговорах с послами, прибывавшими с Запада, пользовались переводчиками. Но правоведа она была необходима, поскольку Свод гражданского права, составленный при Юстиниане I преимущественно на латинском языке, сохранял значение действующего права и в грекоязычной империи. Автор новеллы подчеркивает, что номофилак должен употреблять все силы на проведение занятий, и специально рекомендует ему готовиться по почам.

Обучение в школе устанавливалось бесплатное. Законодатель категорически воспрещал студентам давать номофилаку взятки. Но взяточничество, как известно, было бытовым и нормальным элементом деятельности византийского чиновного аппарата, поэтому, запрещая взятки в общем виде, автор новеллы все-таки признает возможным и даже желательным, чтобы по окончании курса учащиеся подносили наставнику подарки. Такие подарки, полагает он, имеют этическую ценность, ибо они способствуют сближению между людьми.

По окончании школы ее воспитанникам номофилак выдавал свидетельство о достаточной юридической подготовке, а также о наличии голосовых данных (если те собирались стать судейскими) или каллиграфического почерка (если они выбирали карьеру нотариуса, составителя документов). Преуспевшим ученикам новелла сулила скорое продвижение на служебном поприще.

Второй факультет возглавлял так называемый ипат (консул) философов. Пселл, который сам занимал этот пост, нарисовал живую картину деятельности профессора философии — картину, впрочем, не свободную от гипербола и прикрас. Если верить Пселлу, он до поздней ночи готовился к занятиям, а утро снова заставляло его за подготовкой. Когда он входил в аудиторию, лучшие студенты вскакивали со своих мест и успокаивали товарищей. Профессор занимал кресло на возвышении, ученики садились на скамеечки, кое-кто стоял поодаль (наверное, места для студентов определялись в соответствии с их прилежанием). Появлялись и опоздавшие — те, у кого в голове не занятия, а ипподром и иные развлечения. Пселл жалуется, что в дурную погоду учеников мало.

Круг своих преподавательских интересов Пселл сам определяет в панегирике матери. Ему приходится рассказывать студентам о древних поэтах — о Гомере, Архилохе, Менандре, объяснять отдельные слова, повествовать о троянских древностях. Ученики спрашивают его о лечении, о юриспруденции, о размерах Вселенной. Ему случается истолковывать греческие мифы и разъяснять, что такое нектар и амброзия. «Ученики пристают ко мне с вопросами,— замечает Пселл,— потому что любят мою манеру говорить и понимают, что я знаю больше других». Скромником Пселла не назовешь, но он и в самом деле знал больше своих современников<sup>5</sup>.

Метод обучения состоял в том, что студенты задавали вопросы из определенной сферы. Скажем, темой занятий могли быть причины землетрясений или дождь, молния и гром. Вокруг этих проблем завязывалась дискуссия, иногда между учителем и учеником начинались споры. Помимо того, студенты выполняли письменные работы — риторические упражнения, которые затем профессор разбирал, критиковал и исправлял.

Первым номофилаком был Иоанн Ксифилин, преподавал право также Константин Лихуд. Вместе с ипатом философов Пселлом и автором новеллы Иоанном Мавроподом они составляли небольшую группу интеллектуалов, оказывавшую сильное влияние на правительство Константина IX. Впрочем, вскоре разрыв университетской верхушки с Константином Мономахом привел к их отставке. Пселлу пришлось постричься в монахи, Мавропод удалился в почетную ссылку, далеко на восток.

Еще резче противоречия между правительством и университетом обнаружились при преемнике Пселла, ипате философов Иоанне Итале. Итальянец по происхождению, он так и не сумел овладеть правильным греческим произношением и своими обмолвками потешал врагов, но сила логики делала Иоанна опасным противником в споре. Рационализм его философско-богословских построений породил обвинения в ереси. Процесс против Итала закончился в 1082 г. преданием его анафеме. Дальнейшая судьба философа неизвестна.

За осуждением Иоанна Итала последовал процесс против его ученика Евстратия Никейского. Церковный собор 1117 г. объявил Евстратия ересиархом, несмотря на попытку Алексея I спасти его и несмотря на отречение Евстратия от своих «заблуждений» (он даже заявил, что похищенные у него трактаты, давшие основной материал обвинению, были лишь неисправленными черновиками). В середине XII в. осуждению подвергся еще один византийский ученый-рационалист, Сотирих, вместе с которым выступали его сторонники — писатель Никифор Васибеки и оратор Михаил.

После Итала философский факультет быстро теряет свое значение. В 60-е годы XII в. видный чиновник Михаил, получивший пост ипата философов, произнес по этому случаю речь, в которой говорил о восстановлении этой должности после долгого забвения. Своей целью он считал не обучение философии, а борьбу против рационалистических движений. Естественно, Константинопольский университет при Михаиле занял иную позицию, нежели при Итале. И если Итал кончил анафемой, то Михаил, напротив, сделал отличную карьеру и занял в конце концов патриарший престол. Преемники Михаила, ипаты философов в конце XII в. и позднее, при никейском дворе, были, как правило, видными церковными деятелями.

Превращение в XI столетии Константинопольского университета, пусть даже ненадолго, в средоточие рационалистической науки и оппозиционной мысли, поставило перед византийским правительством задачу перестройки высшего образования. Новая высшая школа в Константинополе была организована при патриаршестве.

Реформа была проведена при том самом императоре Алексее I, который обрек Иоанна Итала на церковное

осуждение. В списке церковных должностей (хранится в Государственном историческом музее в Москве) упомянуты среди других высших чинов церкви «три должности, добавленные церкви новеллой императора Алексея», а именно: учитель евангелия, учитель апостола и учитель псалтири<sup>6</sup>. В другом постановлении Алексея I, новелле 1107 г., определено, что учителя (дидаскалы) должны были не только проповедовать, но и сообщать патриарху о настроениях населения с тем, чтобы в случае необходимости светская власть могла вмешаться. Политическая и идеологическая роль дидаскалов проступает в новелле 1107 г. с большой отчетливостью: пропаганда истинной веры и доносительство тесно переплетались в их деятельности.

В XII в. три учительские должности оказываются связанными с Высшей патриаршей школой. Возможно, Патриаршая школа была образована на базе нескольких училищ, существовавших при константинопольских церквях: св. Петра, св. Феодора в Сфоракии, богородицы Халкопратийской и др. Занятия Патриаршей школы проходили как при этих церквях, так и при храме св. Софии. Программа включала прежде всего толкование текста Писания, что было возложено на трех учителей, разбиравших с учениками псалмы, евангелия и послания апостола Павла. Кроме того, в программу входила и риторическая подготовка, порученная так называемому магистру риторов.

Более ясное представление о системе занятий в Патриаршей школе дает переписка Михаила Италика, служившего в первой половине XII в. учителем евангелия. Помимо толкования евангелий, Михаил Италик занимался преподаванием математики, т. е. арифметики, геометрии, астрономии, музыки, а также более специальных наук — механики, оптики, медицины и, наконец, философии. Среди учителей Патриаршей школы мы находим также ряд видных литераторов и ученых XII в., в том числе упомянутого выше Никифора Василага, одного из крупнейших византийских эллинистов, Евстафия Солунского, Никифора Хрисоверга.

Патриаршая школа ни в коей мере не была независимым церковным училищем: в середине XII в., по свидетельству Григория Антиоха, один из ее учителей, магистр риторов, рассматривался как светский чиновник и

назначался императором, хотя еще во времена Алексея I ритор причисляли к церковным чинам.

Связь Патриаршей школы с императорской властью проступала еще в одном обстоятельстве. Магистр риторов должен был дважды в год произносить публичные речи: один раз, в Лазареву субботу (накануне вербного воскресенья, или, как говорили в Византии, недели вайи), он читал энкомий патриарху, другой раз, в праздник святых светов (крещения), 6 января, — восхваление императору. Речи магистра риторов перед царем были одним из существенных элементов государственной пропаганды: в них излагалась и оправдывалась политика византийского правительства и развивалась официальная концепция императорской власти — божественной, самой мудрой и самой могущественной в мире.

Профессорская служба в Высшей патриаршей школе открывала обыкновенно путь в церковную иерархию: после нескольких лет преподавания магистр риторов (или другой учитель) получал митрополичью кафедру и становился одним из князей церкви, если такое понятие, впрочем, могло быть приложено к византийской иерархии. Так, Михаил Италик стал митрополитом Филиппополя, Евстафий — митрополитом Солуни, Георгий Торник — митрополитом Эфеса.

К числу высших учебных заведений Константинополя может быть отнесена и школа при церкви св. Апостолов, подробное описание которой на рубеже XII и XIII вв. оставил Николай Месарит. Светская по характеру своих занятий, она находилась под покровительством патриаршества — и этот факт весьма показателен для той тенденции к усилению церковного влияния на просвещение в XII в., которую мы наблюдали, говоря о трансформации университета и о Высшей патриаршей школе.

Школа при храме св. Апостолов объединяла общеобразовательный цикл с высшим образованием. Здесь можно было видеть юношей, которые проходили «энкиклиос педиа», знакомясь с грамматикой, риторикой и логикой. Одни из них бродили вдоль портика, перелистывая черновики, другие зубрили наизусть записи, третьи учились считать на пальцах и за свою ошибку тут же получали наказание. Здесь же шло и обучение церковному пению.

А вместе с юношами приходили в школу взрослые люди — мужи и старцы, если пользоваться терминологи-

ей Месарита. Они обсуждали в своеобразных семинарах научные вопросы. Месариту эти дискуссии напоминают птичий гам на берегу водоема. То ученик, то наставник выдвигали какую-нибудь проблему, одни утверждали одно, другие — другое и, не в силах найти решение, обрушивали друг на друга грубую брань.

Обучение в споре — характерная черта средневековой школы. Византийцы любили диспуты, и оратор XII в. Константин Манасси рассказывает, что даже перед императором разворачивались споры учащихся грамматических школ и что руководил ими один из высших чиновников — логофет.

Случалось, что жаркие диспуты в школе при церкви св. Апостолов не приносили приемлемых для обеих сторон результатов, и тогда спор должен был разрешать патриарх Иоанн X Каматир (1198—1206), которого Месарит представляет знатоком грамматики, риторики, философии, математических дисциплин и физики; впрочем, другие современники (Никита Хониат, например) отзывались о Каматире куда более скептически. И надо думать, что его роль арбитра определялась не столько редкой образованностью, сколько официальным положением патриарха.

Одна из специфических особенностей школы св. Апостолов — включение в ее программу занятий по медицине. Здесь собирались врачи, повествует Месарит, и обсуждали природу лихорадки и пульса. Подготовка врачей в Византии проходила обычно при больницах: в подробном описании госпиталя при константинопольском монастыре Пандократора, основанном в 1136 г., специально отмечено наличие медицинского училища. Школа св. Апостолов как бы разрывает кастовую замкнутость врачебного сословия и включает медицинское образование в «университетскую» программу, выносит проблемы здравоохранения на публичное обсуждение.

Та система высшего образования XI—XII вв., о которой до сих пор шла речь, — университет, Высшая патриаршая школа и школа при церкви св. Апостола, — находилась в подчинении государства и церкви и предназначалась по преимуществу для того, чтобы поставлять кадры чиновной и духовной иерархии. Время от времени в механизме системы происходили сбои, и среди преподавателей и учащихся обнаруживались еретики и оппозиционеры. Это нельзя рассматривать как порок самой

системы — скорее всего, это не больше чем естественные издержки средневековой организации высшего образования. Знание, вскрывая противоречия библейской догмы, таило в себе опасность «соблазна», и средневековые моралисты это отлично понимали, настаивая то (более ригористично) на тезисе о бесполезности светских знаний, то (с относительной терпимостью) на необходимости разграничивать истинные и ложные знания.

По-видимому, с XII в. стали появляться иные формы научной и образовательной деятельности — кружки, объединявшиеся вокруг какого-нибудь «мецената». Часто таким меценатом оказывалась вельможная дама, позволявшая себе играть в оппозицию к императору, подобно Анне Комнин, старшей сестре Иоанна II, или Ирине, вдове севастократора Андроника, рано умершего брата Мануила I. В этих кружках литераторы и ученые (а в те времена эти два понятия обычно совпадали), окруженные учениками, вели научные беседы; здесь создавались труды по филологии или по астрономии (посвящаемые влиятельному покровителю) и вместе с тем закладывались основы длительной дружбы между наставниками и воспитанниками, дружбы, которая нередко преодолевала время и пространство и плоды которой берегла нам обильная византийская эпистолография.

Константинополь пользовался мировой славой научного и учебного центра не только в Византии, но и на Западе. Память об этом сохранилась в стихотворении, появившемся на свет в Германии около 1300 г. под названием «Вартбургская война» и рассказывающем о состязании певцов. Один из героев «Вартбургской войны», волшебник и поэт Клингсор, говорит, между прочим, о трех главных школьных центрах того времени: это Париж, Константинополь и Багдад. Таково было широко распространенное суждение европейца XIII в.

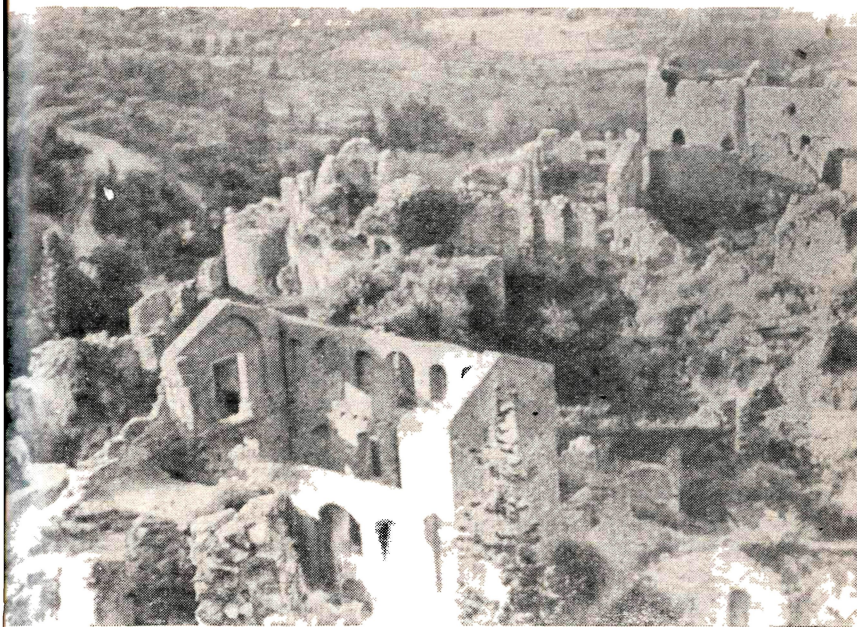
После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. и после восстановления Византийской империи в 1261 г. система высшего образования не была восстановлена в прежнем масштабе. Государственный университет в Константинополе, по всей видимости, не функционировал — зато активно стали действовать школы при монастырях. Монах Максим Плануд создал около 1300 г. школу в своем монастыре Непостижимого: там учились не монастырские послушники, но люди, сделавшие в дальнейшем чиновную, военную и даже врачебную карьеру.

В программу школы Плануда входили толкование античных классиков, математика, медицина. Несколько позднее Никифор Григора открыл школу при Хорском монастыре.

Любопытное обстоятельство. При всем традиционализме византийцев традиции высшего образования в Константинополе были очень непрочными: государственные и патриаршие высшие школы то возникают в столице, то исчезают; они располагаются то в одном помещении, то в другом; их характер и организация постоянно видоизменяются. Еще большей нестабильностью отличается монастырская высшая школа позднего периода: связанная с деятельностью конкретного учителя, подобного Плануду или Григоре, она закрывалась после смерти его или после того, как он попадал в опалу. Устойчивый университет-корпорация в Византии не сложился.

Последнее столетие византийской истории, когда государство существовало на краю пропасти, в постоянном ожидании турецкого завоевания, не благоприятствовало расцвету константинопольской школы. Георгий Схоларий, учитель и будущий патриарх (1454—1465, с перерывами), прямо говорил об упадке образованности, об отставании византийцев от итальянцев. Монополия Константинополя на образование была потеряна, и пелопоннесская Мистра успешно соперничала со столицей, а по сути дела обгоняла ее. Более того, византийцы в поисках знаний начинали изучать иностранные языки, присматривались к деятельности зарубежных университетов. Схоластическая логика, во всяком случае, привлекала их внимание, и ученый XV в. Иосиф Вриенний не без сожаления отмечал, что он и его коллеги не изучали «диалектику» в университетах Италии, Франции или Англии.

Уже на основании сказанного о постановке образования мы можем составить некоторое представление о совокупности знаний в Византийской империи. Книжности образования, его оторванности от опытного знания, от эксперимента, соответствовала и книжность науки: на первом месте стояло истолкование, экзегеза, разъяснение заведанного далекой древностью: это относится не только к Библии, к средневековой книге *par excellence*, но и к «внешней», к эллинской науке. Один из знаменитейших византийских ученых и писателей Иоанн Дамаскин в VIII в. прямо провозгласил, что задача науки — не



Развалины Мистры

создание новых воззрений, новых взглядов, а систематизация уже достигнутого. Высшая мудрость открыта человечеству, его цель — понять ее, повторить, усвоить. Традиционность для византийца — не плод неспособности, но боевой лозунг; в понятии новизны чудится ему нечто еретическое: «новое» — это бунтарство, отказ от отеческих заповедей, от всего привычного, дорогого, освященного христианскими пормами и славным прошлым.

И соответственно византийская наука тяготеет к составлению «сводов», энциклопедий, лексиконов, компендиумов. Дамаскин предлагает систематическое изложение всей суммы знаний, необходимых образованному христианину. Его сочинение «Источник знания» весьма показательно для средневековой науки. Во-первых, оно пропитано уверенностью в том, что существует единственно правильное мировоззрение, которым как раз и обладает автор; многообразие концепций античных философов, бо-

ровшихся друг против друга, постоянно вызывало насмешки христианских апологетов и рассматривалось ими как свидетельство ложности «эллинского» (языческого) взгляда на мир вообще. Во-вторых (и это тесно связано с первой особенностью), оно воинственное, направленное против искажений истины, против ересей, которые для Дамаскина, как и для его современников, не другая точка зрения, не другой подход к объекту, но идущее от дьявола, враждебное и чуждое антизнание. В-третьих, оно компилятивное, очень близкое к текстам предшественников Дамаскина — будь то античные философы (особенно Аристотель) или отцы церкви. Наконец, оно имеет своего рода сверхзадачу — построение целостной системы мирозерцания, пронизанной единым (ортодоксально-христианским) принципом, которому подчинены суждения и о боге, и о космосе, и о человеке.

Почти не продвигаясь в решении частных и конкретных проблем, византийская мысль билась над созданием целостной, всеобщей, всеохватывающей картины Вселенной. Мысль устремлялась к богу, который выступал как начало мира, но начало непостижимое, недоступное разуму. Однако, вопреки этому агностическому принципу, византийское богословие постоянно занималось конструированием образа бога, который описывался как единая сущность, состоящая таинственным образом из трех лиц.

Но если бог непостижим, природа дана человеку в восприятии. Вопрос о соотношении божества и природы — один из сложнейших для византийского богословия. Для наиболее смелых мыслителей, как Пселл, бог создал природу и дал ей законы, а дальше она функционирует в соответствии с этими законами, следовательно, природа подчинена определенным закономерностям, доступным человеческому разумению.

Однако гораздо более распространенным, обыденным был иной взгляд: бог, создав мир, продолжает непрерывно вмешиваться в жизнь природы и человечества, творя чудеса и нарушая тем самым предустановленные закономерности.

Из бога как исходного принципа выводились все основные физические и общественные явления. Бог не только источник, но и цель бытия. Природа не просто творение божие, но и постоянное раскрытие божественной мудрости. Существование человека нацелено в идеале на

подражание божеству. Задача искусства — раскрытие божественности и т. д.

Несмотря на ложность исходных позиций византийской науки, подобная тенденция к системе, к выведению всего сущего из единого принципа, имела своим результатом приближение к пониманию закономерного в бытии. Окружающий человека мир переставал казаться хаосом случайностей, но выступал законосообразным, хотя сама эта законосообразность рассматривалась не как имманентная ему, но как существующая вне мира и до мира.

Пожалуй, всего отчетливее представление о закономерности проступало в византийской исторической науке.

Высшим достижением античной историографии была циклическая теория Полибия, согласно которой каждое общество, словно живой организм, переживает несколько стадий: юность, зрелость, старость. В отличие от этого византийская историческая наука видела в развитии человечества прогрессивное и телеологическое движение, направленное к заранее данной, «заложенной» в самом человечестве и сущей до возникновения человечества цели (разумеется, цель эта дана богом). Человечество проходит на этом пути ряд этапов, или «царств», приближаясь к царствию небесному: Римское «царство», наивысшая форма языческого общества, уступает место христианскому царству, воплощением которого является Византийская империя — «избранный народ» и «Новый Израиль», — стоящая под особым покровительством бога. Правда, эта стройная концепция постепенно приходила в противоречие с действительностью; поражения византийских императоров от «варваров» и «язычников» нельзя было бесконечно трактовать как посланные богом испытания; «Новый Израиль» терял одну область за другой и превратился к XIII в. в нищее захолустье, существование которого едва терпели более богатые и могущественные соседи. Телеологическая концепция исторического развития оказалась неубедительной, она была вытеснена ренессансными воззрениями, отводившими решающую роль в истории человеку — носителю силы, а не божественного предназначения. Но она, несомненно, способствовала выработке в дальнейшем представлений о закономерном ходе истории.

Для понимания своеобразия византийской науки весьма показательны судьбы юриспруденции. Все ее развитие

было подчинено изучению римского права, памятники которого переводились, комментировались, пересказывались, тогда как юридическая практика, отразившаяся в деловых документах и судебных решениях, равно как и живая юридическая терминология, почти не проникали в правовые руководства. Задача, стоявшая перед византийской юриспруденцией, заключалась в поисках оптимальной систематизации римского права, в его очищении от внутренних противоречий, в составлении алфавитных указателей-синописов к объемистым правовым сводам, по то обстоятельство, что памятники римского права не отражали во многих своих частях реальных общественных и административных порядков, как будто не смущало ни одного из византийских правоведов. Иллюзия неизбежности общественного устройства, создаваемая византийской юриспруденцией и в какой-то мере поддерживаемая всем комплексом гуманитарных наук, сама по себе выполняла существенную социальную функцию — функцию охранительную. Традиционализм, внешне представляющийся ученым повторением старых норм, был в действительности ответом на жизненную задачу. Но от этого он не переставал быть традиционализмом.

Книжность науки свойственна не только византийским гуманитарным дисциплинам, не только юриспруденции, философии или богословию, но и тем наукам, предмет которых — природа. Конечно, в программе византийского образования мы видели «математическую четверицу» — арифметику, геометрию, астрономию и музыку — совокупность дисциплин, которые иногда сближают со средневековым западноевропейским квадривиумом. Однако в византийской математике или астрономии колоссальное место занимали, помимо комментариев или парафраз сочинений древнегреческих ученых, рассуждения о внутреннем, мистическом, смысле чисел или астрологические выкладки, исходящие из взаимосвязи движения небесных тел с событиями, совершающимися на Земле. И византийская «биология» ограничивалась, как правило, описанием монстров и парафразой античных наблюдений или агрономических советов, подчас приправленных аллегорическим и морализирующим разъяснением природных явлений — действительных или легендарных.

Характерная черта византийской науки — тяга к мистическому, чудесному, парадоксальному. Невозможное

становилось возможным. Сказочные звери-единороги обретали реальные черты в византийской научной легенде. Псевдо-Дионисий Ареопагит, богослов V—VI вв., рассказывает, как он сам наблюдал полную луну, затмившую солнце (на самом деле затмение случается лишь в новолуние!). Парадоксальность прекрасно уживалась с христианским мировоззрением, ибо основные принципы христианского богословия (учение о троице, о воплощении сына божьего) были парадоксальны, стояли «выше» разума. Поиск парадоксального в какой-то мере отвечал интуитивному стремлению средневекового человека вырваться из оков действительности, но стремлению, которое было не более чем иллюзией.

Однако при всей книжности и традиционности византийской науки, при всей ее тяге к парадоксальному она отнюдь не была абсолютно оторвана от реальной жизни и реальных потребностей. Конечно, византийская химия и минералогия оставались прежде всего оккультными науками, науками о тайных свойствах веществ. Более того, алхимические опыты, столь показательные для Западной Европы XIII в., практически не затронули Византию: византийская алхимия — чисто спекулятивная дисциплина, оперировавшая не с колбами, а со старыми рецептами. В области энергетики византийцы также постепенно стали отставать от Западной Европы, где в XII в. распространяется ветряная мельница, а водная энергия начинает интенсивно использоваться в ряде видов ремесленного производства. Византийцы не проявляли интереса к поискам новых источников энергии (ветряная мельница появилась здесь лишь в XIV столетии). И все-таки именно византийцы изобрели в конце VII в. так называемый жидкий, или греческий, огонь — легко воспламеняющуюся жидкость, куда входили нефть и селитра. «Греческий огонь», выбрасываемый из специальных сифонов-огнеметов, позволял византийцам поджигать вражеские корабли и крепостные сооружения. С помощью «греческого огня» была одержана не одна победа.

Византийская медицина опять-таки колебалась между убеждением, что болезнь, посланная богом, заключает в себе не только испытание, но и приближение к божеству (одержимость, юродство часто воспринималось как пророческий дар), и убеждением, что болезни подлежат лечению — вплоть до операционного вмешательства. Пе-

ред великими медицинскими авторитетами византийские врачи преклонялись почти без раздумий: критиковать Гипократа или Галена для них было немислимо почти так же, как сомневаться в достоверности Библии. Большая часть византийских медицинских трактатов — краткие или более пространные сочинения, разбирающие вопросы кровопускания, диагностику по крови и моче, медицинскую астрологию и диетические рецепты. Эти «иатрософические» произведения поверхностны и компилятивны и плохо вяжутся с тем, что мы знаем о высокой организации больничного дела в Константинополе XII в.

Уже упомянутая выше больница при монастыре Пандократора имела 50 коек для постоянных больных и несколько отделений: хирургическое, женское, для страдающих острыми заболеваниями (глазными, желудочными) и для страдающих обычными заболеваниями. На каждое отделение полагалось два врача, три штатных помощника (говоря нашим языком, фельдшера), два сверхштатных помощника и два служителя. Приходящих больных обслуживали четыре сверхштатных врача, два из которых были хирургами и два — специалистами по внутренним болезням. Кроме того, при больнице существовал специальный штат аптекарей.

Фармакология достигла в Византии настолько высокого уровня, что написанное в XIII в. сочинение Николая Мирепса о лекарствах еще в середине XVII столетия служило основным пособием для студентов Парижского медицинского факультета. Большое внимание уделяли византийцы проблеме диеты: книга Симеона Сифа (конец XI в.), посвященная свойствам различного рода пищевых продуктов, учитывает, помимо античных традиций, арабские рецепты и жизненные наблюдения.

Византийские географические представления уходили корнями в книжную античную традицию, переплетаясь подчас с легендарными, сказочными сведениями о дальних племенах. Своих соседей византийцы называли античными этниконами («скифы», «сарматы»), именами исчезнувших народов. А в то же время их описания стран, близких и далеких, — вплоть до Индии, о которой рассказывал купец и путешественник VI в. Косьма Индикоплов, подчас были весьма реалистичны. Византийцы составляли списки городов и провинций, зиждившиеся обычно на античных образцах и учитывавшие давно переставшие существовать поселения, и деловые «подорож-

ные» — предшественники итальянских портуланов, характеристик торговых путей. Они умели изготавливать карты и планы — биограф Карла Великого Эйнгард упоминал о плане Константинополя, выполненном на серебряной табличке.

Византийская физика, или, как тогда говорили, физиология, наука о природе, оставалась книжной и дескриптивной: понятие об эксперименте было византийцам абсолютно чуждо, если не говорить об исключительных случаях (так, Григорий Нисский «экспериментально» демонстрировал библейскую идею возникновения космоса из хаоса, и Иоанн Филопон, по-видимому, основываясь на опыте, пришел к выводу, что скорость падения тел не зависит от их тяжести). Описание внешнего мира в византийских «Шестодневах» и «Физиологах» постоянно переплеталось с благочестивой морализацией и раскрытием аллегорического смысла, заключенного в природных явлениях. Дискуссионные проблемы рождались умозрительно. Долго обсуждался, к примеру, вопрос о причинах землетрясений. Наряду с ортодоксальной точкой зрения: землетрясения вызваны божьей волей, карающей и нравоучающей человечество, — выдвигалось и «естественнонаучное» объяснение: причиной их служит «избыток воды». Еще более интересно обсуждение вопроса о том, почему при разряде молнии человек сначала видит свет и только потом слышит звук. Решение Пселла было чисто спекулятивным: глаз, полагал он, выпуклый, а ухо полое, и потому глаз раньше улавливает свет, чем ухо — звук. Симеон Сиф предлагал более толковое объяснение: звук нуждается во времени для своего распространения, свет же независим от времени.

Но вместе с тем практическая деятельность византийцев предлагала искусное использование физических законов. Строительство храмов основывалось на совершенном владении навыками механики и акустики, а возведение нового типа храмового здания — перекрытого куполом — предполагало живое творчество в этой сфере. Создание автоматов, украшавших императорский дворец и приводимых в движение водой, требовало большого опыта и теоретических знаний. Военные механизмы византийцев отличались сложностью и совершенством, а в теории зажигательных зеркал ранневизантийский механик и архитектор Анфимий, один из строителей храма св. Софии, пошел дальше античных теоретиков.

То же самое относится к византийской астрономии. В сфере космологии византийцы не двинулись вперед. Они придерживались традиционных представлений, одни из которых восходили к библейской концепции (в наиболее четкой форме учение о плоской Земле, омываемой океаном, изложено Космой Индикопловом, резко полемизировавшим с Птолемеем), другие — к достижениям эллинистической мысли, признавшей шарообразность Земли (Василий Великий и Григорий Нисский, а позднее и Фотий полагали, что учение о шарообразности Земли не противоречит Библии). Астрология получила широкое распространение. А наряду с этим астрономические наблюдения позволили Никифору Григоре (ученому, предлагавшему, кстати сказать, реформу птолемеевского календаря) дважды предсказать солнечное затмение.

Наконец, если мы обратимся к математике, то и здесь обнаружим сочетание традиционализма с явной практической сметкой и прогрессом — особенно в прикладных областях. При поверхностном суждении византийская математика компилятивна, деятельность виднейших математиков как будто бы сводится к разысканию и разъяснению античных математических текстов. В начале VI в. Евтокий издал потерянный текст Архимеда, написал комментарий к трудам Архимеда и Аполлония и собрал подробнейшие сведения о ранних попытках решить проблемы удвоения куба. И математики XIV в. прежде всего комментировали Евклида, Диофанта, Никомаха, проявляя больше учености, чем творческой самостоятельности.

И все-таки этим византийская математика отнюдь не исчерпывается, спускаясь с высот оккультиности и ученого комментария к практическим нуждам. В Византии разработали сложные методы измерения площадей (что диктовалось, в частности, потребностями налогового обложения) и умели использовать астролябию для землемерных нужд (хотя крестьяне обычно обходились веревкой). Сохранились греческие задачки, один из которых относится, правда, уже к концу существования империи, к первой половине XV в. Собранные в нем задачи вырастают из обыденных нужд и интересов ремесленников и торговцев. «Три человека составили торговую компанию. Один внес 25 флурий (по-видимому, имеются в виду флорины — итальянская монета), другой — 35, третий — 42, а прибыль составила 38 флурий. Спрашивается, как им

разделить доход». Или еще: «Курица, стоившая 40 аспров, кладет каждый день по яйцу. Яйца идут на базаре по 40 штук за аспр. Спрашивается, в какое время курица оправдает свою цену»<sup>7</sup>.

При этом любопытная особенность. Условия задач в византийских задачниках очень часто формулируются абстрактно, вне прямой связи с реальностью. Так, в сборнике задач, помещенном в Парижской рукописи начала XIV в. (*Supplementum graecum* 387), соотношения различных видов монет указываются совершенно произвольно, так что 1 перпер приравнивается то к 17, то к  $14\frac{1}{2}$ , то к 12, то к  $5\frac{1}{3}$  дуката или же к  $14\frac{1}{2}$ , 12 и  $8\frac{1}{2}$  так называемых трехглавых монет. Эти произвольные соотношения служат исключительно для упражнений.

Византийцы пытались применять арабскую систему цифр, что засвидетельствовано впервые в схолиях к Евклиду в рукописи XII в. Возможно, еще раньше Лев Математик стал обозначать алгебраические понятия буквенными символами. Не ограничиваясь греческой традицией, византийские ученые (особенно трапезундские математики первой половины XIV в.) старались использовать достижения персидской математической школы.

Книжность и компилятивность византийской науки, не требовавшей специальных навыков, позволяла ученому быть «всеведущим» человеком, многогранным и начитанным в самых разных областях. Иоанн Дамаскин стремился охватить всю сумму тогдашних знаний. В XI в. Михаил Пселл писал по вопросам философии, математики, физики, медицины, был историком и богословом. Столь же широки интересы Никифора Влеммида в XIII в. и Феодора Метохита в XIV в. Подобное многознание — характерная для средневековья черта.

Византия сделала много для развития культуры. Во-первых, потому, что она сохранила высшие достижения эллинской мысли. Во-вторых, потому, что она, развивая античное наследие, создавала новые принципы научного и художественного творчества.

И теперь естественно было бы перейти к вопросу о творчестве.

### ОТ ЗНАНИЯ ДО ТВОРЧЕСТВА

В первых двух главах мы вели речь о вещах, так сказать, массовых: при известной индивидуальности писца византийская книга — прежде всего плод стандартизации, личность переписчика окрашивала ее лишь в минимальной степени и проявлялась в деталях, сравнительно второстепенных. И индивидуальность преподавателя стиралась стандартностью школьной программы, ибо от века к веку обучение предполагало усвоение все той же псалтири, все тех же гомеровских поэм и примерно тех же арифметических правил.

Иное дело — творчество, писательская работа. Конечно, в Византии, где скованность мышления, порожденная множеством причин: и традиционностью поведения, и общественно-политическими условиями, и восторженным преклонением перед святоотеческой и античной литературой, — была особенно сильна, мы постоянно сталкиваемся с открытой комплятивностью и честным заимствованием. Стереотипы, клише, шаблоны были типичны для византийского научного и художественного творчества. Но творчество не сводилось к повторению, к общественной памяти, — вопреки официальной программе, оно содержало в себе и новизну, и индивидуальность. В сочинениях одних писателей новизна и индивидуальность выступали слабее, другим они были более свойственны. Одним из самых своеобразных византийских авторов был Никита Хониат, и именно о нем, о его индивидуальности и особенностях его творческого лица, пойдет речь в этой главе.

В апреле 1204 г. Никита Хониат пережил падение Константинополя. Он видел, как перестала существовать империя, казавшаяся вечной. Он видел разгул победителей, видел вчерашних царедворцев лишенными средств к существованию. Семья Хониата спаслась случайно, благо-

даря помощи какого-то венецианского купца, давно уже жившего в Константинополе и сохранявшего к Никите приятельские чувства: он выдал Хониатов и их друзей за своих пленников, а затем помог им покинуть разграбленный город.

В этот момент произошло событие, по-видимому, обычное для тех тревожных дней: какой-то варвар схватил красивую девушку, находившуюся среди спутников Хониата, и потащил к себе домой. Казалось бы, что можно было сделать побежденным, кучке невооруженных людей, в городе, наводненном латинскими рыцарями? Рыдать, рвать на себе волосы, умолять о помощи? Так поступил больной старик, отец похищенной девицы, не так — Хоннат. Он побежал к дому варвара, собрал толпу, обрушился на похитителя с обвинениями, и тот — как ни удивительно — испугался угроз и уступил. Это по рассказу самого Хониата, а если верить его биографу и брату, безоружный защитник похищенной просто вырвал ее из рук варвара — подвиг, который, по словам биографа, превосходит деяния Геракла и ветхозаветных героев Симеона и Левия.

Но оставим в стороне византийскую страсть сравнивать дела века нынешнего с поступками мифологических и библейских персонажей. В конце концов, даже не сопоставляя действия Никиты Хониата с победами Геракла над львом или гидрой, мы не можем отказать нашему византийцу ни в смелости, ни в находчивости. Сколько людей прошло бы (и в самом деле проходило) мимо в такой ситуации, смущенно потупив взор и подавляя укоры совести. Хониат рисковал жизнью, и в этом неравном столкновении победил.

Кто же он был, этот смелый и честный человек, один из самых больших византийских прозаиков, историк, оратор, политический деятель?

Никита Хониат родился около 1150—1155 гг. в малоазийском городе Хоны (возникшем, по-видимому, на месте древних Колосс) в семье, по всей вероятности принадлежавшей к местной знати, — во всяком случае, его восприемником при крещении стал сам митрополит хонский. Старший брат Никиты, Михаил, был предназначен к духовной карьере, и в 1182 г. он занял афинский митрополичий престол. Известен еще один Михаил Хониат: в 1199 г. он вместе с братом Константином, а также

со своей женой и с женой Константина подарил храму богородицы Милостивой рукопись, ныне хранящуюся в Ленинграде,— но кто эти Михаил и Константин Хониаты и состояли ли они в родстве с Никитой, сказать затруднительно.

Учиться девятилетнего Никиту отправили в Константинополь, где уже жил в ту пору его старший брат. Никита готовился к административной деятельности: он изучал риторику и юриспруденцию. О начале его служебной карьеры упоминает его брат Михаил в послании, написанном около 1180 г.: Никита был направлен податным чиновником в какую-то отдаленную область, подвластную Византийской империи,— возможно, в Матрахи, русскую Тмутаракань.

При малолетнем императоре Алексее II (1180—1183) Никита — при дворе, он занимает пост императорского секретаря. Это уже начало большой карьеры, но она внезапно прерывается. В Константинополе происходит переворот: Андроник Комнин приходит к власти, сперва в качестве регента при малолетнем Алексее, затем — соправителя, наконец — единовластного государя.

Недолгое царствование Андроника I (1183—1185), сопровождавшееся суровыми расправами с византийской знатью, с людьми, часто близкими Хониатам, произвело на молодого чиновника страшное впечатление. Позднее в «Истории» он посвятит этому времени много горьких страниц. При жизни Андроника он не примкнул к тем, кто славословил всемогущего императора, хотя даже его брат Михаил участвовал в этом восторженном хоре. Никита же вышел в отставку. Судьба благоприятствовала ему: он не был ни арестован, ни ослеплен, а вскоре Андроника свергли, и Никита смог возвратиться на службу.

Новый правитель, Исаак II Ангел, на первых порах обещал либерализацию. Он запретил, в частности, смертную казнь и членовредительские наказания. Подданным показалось, как писал позднее Хониат, что весна сменила зиму и после бури наступила тихая погода: со всей страны в Константинополь стекались воины и чиновники, желавшие служить новому государю.

Теперь Никита Хониат пошел в гору: придворный оратор, наместник Филиппополя, один из высших судей империи — так называемый судья вила, наконец, логофет секретов — глава столичных канцелярий, нечто вроде ны-

нешнего премьер-министра. Он был богат. Только в столице ему принадлежало два дома: один, огромный и красивый, в квартале Сфоракий, неподалеку от Месы, главной улицы Константинополя; другой, более скромный, в непосредственной близости от храма св. Софии. Ему принадлежала домашняя церковь. Многие столичные дамы засматривались на Никиту, а их отцы и братья искали его внимания. (Он женился со временем на сестре своих друзей — видных чиновников Велисариотов).

И все это рухнуло вместе с Византийской империей, рухнуло в апреле 1204 г. Пешком, в сопровождении немногочисленных слуг, унося детей на руках, семья Хониата покидала Константинополь, а окрестное население насмехалось над недавними вельможами и стремилось продать им подороже необходимые продукты питания. Их ждал долгий путь — в Никею, где Феодор Ласкарь собирал силы для сопротивления крестоносцам. Речи, которые Никита произносил перед Ласкарем, не принесли ни славы, ни влияния. Семья бедствовала. Его брат Михаил, бежав из Афин, захваченных крестоносцами, жил в нужде на острове Кеос. Смерть уносила самых близких друзей Никиты. Около 1215 г. умер он сам.

Здесь, в Никее, Хониат завершил главнейшее из своих сочинений — «Историю» (сам он назвал ее «Хроникой», «Летописным повествованием») <sup>1</sup>.

«История» Никиты Хониата охватывает большой, почти столетний, отрезок времени — от смерти императора Алексея I в 1118 г. до военной экспедиции латинского императора Генриха Константинопольского против болгар в 1206 г. Сочинение распадается на 21 книгу. Первая, сжато повествующая о событиях царствования Иоанна II (1118—1143), опирается главным образом на письменные источники, остальные — либо на рассказы очевидцев (на которых он время от времени ссылается), либо на архивные документы (Никита приводит или пересказывает некоторые письма государей и вельмож, например переписку Исаака Ангела с Фридрихом Барбаросой) и, что самое ценное, — на его собственные наблюдения. Лишь некоторые части «Истории» восходят к литературным свидетельствам, например эпизод взятия Солуни норманнами в 1185 г. основан на повести Евстафия, митрополита солунского, близкого друга Михаила Хониата.

«История» — плод многолетнего труда. Конец ее, разумеется, создан уже после трагических событий 1204 г., причем, по всей видимости, в несколько приемов. Описав падение Константинополя, Никита хотел было остановиться, чтобы не воспевать, по его собственным словам, деяний варваров и битвы, проигранные эллинами, но возобновил свой рассказ, когда узнал о разгроме латинян болгарскими войсками 14 апреля 1205 г. Более ранние разделы писались еще до 1204 г.; во всяком случае, они содержат ряд фраз и замечаний, которые не могли бы появиться после падения византийской столицы. И слова Хониата о том, что ныне можно видеть в долине Меандра кучи костей — останки воинов, павших в 1147 г., или что в Сицилии и поныне остаются в рабстве фивяне и коринфяне, уведенные в плен норманнами в том же 1147 г., — слова эти были написаны вряд ли уже очень много лет спустя после событий 1147 г.

Как часто у нас бытует представление о средневековом летописце как о бесстрастном регистраторе событий, не вносящем в повествование ни крохи личного, субъективного. Разумеется, тенденция к подобной «объективизации» изложения свойственна многим средневековым памятникам, однако не «Истории» Хониата. Личность автора проступает здесь не только в выборе формы, не только в упоминании им некоторых эпизодов из собственной жизни (и в частности, уже известного нам эпизода, связанного со спасением девушки-гречанки в захваченном крестоносцами Константинополе), но и косвенно (может быть, не всегда осознанно) — в подборе материала.

Приглядимся хотя бы к географии сочинения Хониата. Далеко не безразличен он к разным областям Византийской империи. Чаще всего Никита упоминает те, с которыми так или иначе сопрягается, соприкасается его жизненный путь. Прежде всего — это «мои Хоны», родина, и затем города по реке Меандр, расположенные по соседству и, видимо, с детства знакомые; помимо того, Филиппополь, где некоторое время Хониат служил наместником. Остальные города и районы появляются реже, довольно спорадично. Эта субъективная неравномерность распределения географической номенклатуры становится особенно заметной при сопоставлении труда Хониата с книгой его современника Иоанна Киннама, рассказываю-

щего о царствовании Иоанна II и Мануила I (книга обрывается около 1176 г.).

И то же самое можно сказать об отборе персонажей. Многократно Хониат вспоминает судебных и особенно так называемых судей вила: Мануил I пазначал на судебские должности полуварваров, едва знающих по-гречески; при Андронике I судьи являлись опорой узурпатора; некий судья вила («Я опушу его имя», — замечает Хониат) был назначен начальником прошений, а Иоанн Апотир сделался судьей вила; судьи вила заступались за вдову Мануила I; судьи вила не хотели ехать заложниками к Фридриху Барбароссе; некий судья вила («Я сознательно опушу его имя», — опять говорит Хониат) опозорил себя угодничеством перед Феодором Кастамонитом; судьи вила льстили Алексею III Ангелу (1195—1203), вызывая только смех. Ни одна из должностей не упоминается Хониатом столь часто, и не удивительно: ведь он сам занимал пост судьи вила и интересы судебных ему особенно близки.

Индивидуально окрашено и отношение Хониата к возрасту, к юности и старости, отношение, постепенно меняющееся по мере писания «Истории». В первых книгах старость вызывает постоянную иронию, более того — враждебность. О ненавистном ему Андронике Комнине писатель все время говорит: «старый», «дряхлый», «плешивый», «грязный старик, древнее Тифона и Кроноса» — по меньшей мере 14 раз поминается старость Андроника! С насмешкой пишет Хониат о лысом старике Иоанне Дуке, дяде императора Исаака II Ангела, который добивался короны, но был отвергнут плебсом, не желавшим иметь государем дряхлого старика. «Разве я вовсе потерял рассудок от старости?» — заставляет Хониат сказать Иоанна Дуку. И старость врага империи, уродливого султана Кылич-Арслана II (1156—1192) подчеркивает Никита — «злосчастную старость» султана, под конец жизни низложенного собственными детьми. И старость Иоанна Кондостефана, неудачно командовавшего походом на Кипр. И старость патриарха Никиты Мундана, которая вместе с простоватостью оказалась причиной его смещения. Наконец, предсказателя Василиаки Хониат именует «болтливой старикашкой» и с пренебрежением описывает пьяных старух из окружения Василиаки. Но в конце «Истории» тема старости исчезает. Только о венецианском

доже Энрико Дандоло Хониат говорит как о древнем старике, называвшем себя мудрейшим из мудрецов.

Совсем иное отношение к юности. В первых книгах, где, правда, время от времени вспоминаются пороки молодого возраста, молодость в общем воспринимается позитивно. Молодой Мануил I всем любезен — и приятностью юного лица, и разумностью своих решений. И хотя многие сомневались, сумеет ли он, чьи щеки еще покрыты первым пушком, управлять государством, митрополит хонский, восприемник Никиты, заявил, что его царствование угодно господу. И любопытно, что Никита нигде не упоминает о старости Мануила, несмотря на то, что тот был сверстником «дряхлого, как Тифон и Кронос», Андроника Комнина.

Не только юность Мануила привлекательна. Константин Дука, по мнению Хониата, — многообещающий юноша. Говоря об отважном полководце Конраде Монферратском, Хониат отмечает его цветущий возраст. С сочувствием пишет Хониат о судьбе молодых людей — Феодора Ангела и Мамала, несчастных жертв Андроника I.

А затем восприятие юности меняется: из явного достоинства она превращается в недостаток. «Буйная юность» свойственна мятежникам, глупцы ведут себя «подетски». С нескрываемой злобой Хониат клеймит фаворита Исаака II — «мальчишку, еще нуждавшегося в учителе азбуки и учебных табличках для письма», только недавно оставившего тростниковое перо и чернила, сразу, чуть не с пеленок дорвавшегося до кормила власти. Хониат рассказывает о трех юношах, бездарно командовавших войсками и попавших в засаду, устроенную сельджуками; о евнухах и «гладкощеких» молодых слугах императора, противившихся разумному совету. Он осуждает Алексея IV — молокососа не только по возрасту, мальчишку легкомысленного и невежественного. Он упоминает какого-то юношу, несправедливого, не ведающего законности, причинившего массу зла родной Аттике. Пожалуй, только для молодого Феодора Ласкаря, будущего императора, сделано исключение — он назван «дерзким юношей, неукротимым в битвах».

Итак, молодой Хониат смеялся над старостью и ценил юношеские доблести. По мере того как он становился старше, его взгляды менялись: молодость открывала свои пороки, старость — свои достоинства. Что это?

Сознательная и продуманная программа? Вряд ли. Скорее всего — неосознанное смещение в психике, подвижное отношение к окружающему миру.

Живое, личное, индивидуальное в повествовании Хониата проявляется в ощущении постоянного авторского присутствия, которое выражается не только в упоминании о себе или в подборе материала, но и в активном отношении к собственному повествованию.

Автор без конца напоминает о себе. То скажет: «Я думаю», то заметит: «Это я вставляю», то, наоборот: «Этого имени я не назову». Иногда он пишет: «Не знаю, истинно ли это», иногда, напротив, просит читателя поверить ему и подтверждает свои слова ссылкой на какое-нибудь событие. В других случаях Хониат не без известного кокетства словно устраняется от оценки и вкладывает ее в уста одного из своих персонажей. Не автор, а норманнский граф Алдуин смеется над Исааком Ангелом, не сведущим в военном искусстве, ибо с детских лет он привык не к оружию, а к вощечке и стилю. Не автор оценивает династию Ангелов, а в уста «влахов» (по-видимому, речь идет о болгарах) вкладывает он молитву о долголетию этой династии, ибо они надеялись при Ангелах добиться политических успехов.

Разумеется, отмечая элементы личного, субъективного в творчестве Хониата, я отнюдь не собираюсь подтягивать его к литературным нормам нового времени, когда стремление к индивидуализации стало осознанным, а охранение возводилось в художественный принцип. Субъективность Хониата скромнее, она словно пробивается сквозь толщу стереотипов и унаследованных, готовых, давно сложившихся формул, через традиционные суждения и общеобязательные оценки.

Рука божья, воля господня, гнев божий, воздаяние за грехи — все эти (и родственные им) понятия определяют, согласно Хониату, ход событий. Это естественно и нормально для XII столетия, когда христианство было общей знаковой системой Европы. Но любопытно, что сквозь традиционно-теологическую систему взглядов Хониата (которому, кстати, принадлежало специальное историко-церковное и богословское сочинение «Сокровище православия», изданное пока еще только в отрывках)<sup>2</sup> пробиваются неожиданно скептические, вольно фрондирующие, иногда насмешливо-иронические пассажи.

В 1176 г. Мануил I потерпел сокрушительное поражение от сельджуков в битве у Мириокефала; рассказывая об этом сражении, Хониат внезапно называет императора «хранимый богом». Как же «хранимый», если битва проиграна? И еще раз, повествуя о походе Исаака II против болгар в 1195 г., Хониат сообщает, что император «препоручил себя богу». Нейтральная фраза, которую легко принять за стереотип, но в конкретном контексте она оборачивается скепсисом, насмешкой — ведь поход завершился изложением и ослеплением Исаака. Эта скептическая нотка усиливается благодаря тому, что писатель настойчиво подчеркивает благочестие помыслов государя: Исаак хотел в случае победы отнести успех на счет божьего расположения и готов был вместе с тем принять решение господина, если бы тот сулил поражение. Весь текст пронизан библейскими аллюзиями: Хониат говорит о «жезле нечестивых», вознесенном над «жребием праведных» (Псал. 124. 3), пользуется характерным для книги пророка Иезекииля клише «обратить лице» (Иезек. 6.2; 13.17 и др.). Больше того, стремясь приблизить повествование к библейскому образцу, Хониат рассказывает, что у Мануила, и — в другой раз — у Исаака съехал на сторону или свалился шлем, и добавляет: «Словно некогда Давиду, господь покрыл ему голову в день брани» (аллюзия на Псал. 139. 8). «Покрытие головы», таким образом, из возвышенной метафоры становится чуть ли не будничной реальностью, поскольку голова и того и другого государя буквально обнажилась в пылу битвы, и в результате противоречие высокого, библейского низменному приобретает особенно ироничный оттенок.

Еще показательнее другой эпизод, тоже относящийся к царствованию Исаака II. Мятежные войска Алексея Враны подступили к Константинополю. Исаак собрал монахов, рассчитывая с их помощью умолить господина прекратить гражданскую войну. Он возлагал все надежды на «всеоружие Духа». Казалось бы, благочестиво и соответствует средневековому умонастроению. Однако Хониат усматривает в действиях императора «недостойную вялость» и противопоставляет ей позицию Конрада Монферратского, убеждавшего Исаака уповать не на одних монахов, но и на войска, не только на оружие в правой руке (аллюзия на II Коринф. 6.7), но и на оружие в левой — на меч и панцирь.

И еще одна история: Хониат со своими спутниками уходит из занятого крестоносцами Константинополя. После трудностей и испытаний беглецы, наконец, оказались на свободе, и тут спутники писателя возблагодарили бога за спасение. «Я же,— продолжает Хониат,— бросившись как был наземь, только порицал стены [за их бесстрашие]». Нет, он не забывает о боге: все совершилось, замечает Хониат, не по воле случая, но согласно божественному решению, и, пересказывая свою речь, обращенную незадолго до того к латинянам, упоминает о «слезах, которым внимает бог». Но все-таки в решительный момент, в момент спасения, он думает (как Конрад Монферратский) не о боге, но о крепостных стенах.

И, может быть, еще существеннее, чем подобные элементы религиозного скепсиса, неосознанно вольное использование библейских образов или теологической терминологии в ситуациях, для этого совершенно не подходящих. Ростовщик Каломодий уподобляется райскому древу познания, плоды которого некогда соблазнили прародителей,— ведь блеск его золота манил чиновников царской казны. Немцы кинулись в погоню за ромеями, стремясь найти ищущего. Здесь явная аллюзия на известные слова Иисуса в нагорной проповеди: «Ищите и найдете» (Матф. 7.7). Ищущими же ромеи названы потому, что они готовили немцам засаду. Как, однако ж, переосмыслены, как секуляризованы евангельские слова, в какой неожиданно остранный контекст они помещены! И когда сельджуки названы «ловцами человеков» (аллюзия на Марк. 1.17), и когда к смуглому Мануилу I прилагаются слова «Песни песней» (1.4—5): «Черна я и красива... ибо солнце опалило меня»,— разве это не секуляризация Библии? Рассказывая, как арестованному Андронику Комнину изготовили по восковому слепку ключ от его темницы, Хониат озорно наполняет рассказ богословскими терминами «архетип», «подобие», «точный образ». А чего стоит сравнение священных хоругвей, выносимых из храма св. Софии, с молоком, привлекающим мух!

Суеверия, гадания, гороскопы, астрология вызывают самые злые насмешки Хониата. Он издевается над верой в существование неблагоприятных дней, опасных букв, несчастливых цветов. Он хвалит Андроника Кондестефана, решившегося дать сражение венграм, несмотря на запрет императора, по мнению которого, день был выбран

вопреки знамениям и потому сулил неудачу. Хониат потешается над юродивым пророком Василики, славившимся своими чудачествами не меньше, чем предсказаниями: он хватал женщин за грудь, задирали им платье, на вопросы отвечал прыжками и даже государю не оказывал ни малейшего почтения. Никита смеется, но, если взглянуть повнимательнее, он и побаивается колдунов и предсказателей, ибо их пророчества того и гляди сбудутся.

Нет, конечно, я не имею целью утверждать, что Никита Хониат был свободомыслящим. Он ужаснулся бы, если бы услышал подобный домysel. Он был религиозен, как его современники, он жил богословскими спорами, он чтит Библию и молился богу. И тем, пожалуй, показательнее, что в его повествование, в его образную систему врывается, пропикает смутное и неосознанное, абсолютно несистематизированное сомнение. Оно питалось в какой-то степени античными идеалами и образами, почерпнутыми Хониатом у высокочтимых им классиков: недаром он считает возможным рисовать картину переправы душ через Ахерон или сопоставлять икону богоматери, водруженную на разукрашенную колесницу, с языческой богиней — воительницей и девой — Афиной. А вместе с тем сомнения естественно возникали у художника, воспитанного, как и все его современники, в убеждении, что он принадлежит к избранной части человечества, и пережившего мучительную эпоху ослабления и распада Византийского государства — эпоху, завершившуюся взятием Константинополя иноземцами, варварами, «грязной голытьбой». Как он ни убеждает себя, что падение Константинополя — результат божьей кары, которая в грядущем обратится на сами орудия божьего гнева, превзошедшие меру в своей жестокости, как ни надеется на милосердие божье к византийцам, он не может уйти от мысли, что трагедия Византии — закономерное завершение длительной эпохи, в которой он жил, и ожидание катастрофы, мы это еще увидим, пронизывает всю его «Историю».

Яснее, чем религиозный скепсис, проступает в книге Хониата политический скепсис, сомнения в божественности государственной власти.

Божественность императорской власти — один из коренных элементов официальной доктрины, или даже, можно сказать, государственной религии в Византии. Эта

официальная доктрина всего отчетливее сформулирована византийскими ораторами, разработавшими длинную серию стереотипов, связанных с императорским культом; прославление царского милосердия, щедрости, военных успехов; прославление золотого царского пота, пролитого на благо подданных; сравнение императора с великими героями прошлого — греческим царем Александром Македонским и еврейским царем Давидом; сравнение государя с весной, морем и особенно с солнцем; наконец, сравнение царя с Христом, с богом. Вся эта терминология, присущая императорскому культу, представлена и в речах Никиты Хониата<sup>3</sup>: «Равный господу царь», — говорит он об Алексее III, и еще раз в той же самой речи: «За твое сострадание я дерзну сблизить тебя с самим господом Христом». В другой речи он сопоставляет победы Алексея III с гласом господним, высекающим пламень огня (имеется в виду Псал. 28.7), или с тем, как господь сошел на землю и смешал язык людей (Быт. 11.7), а об Исааке II он недвусмысленно заявляет, что тот получил власть не по человеческому замыслу, но от бога.

Совсем по-иному и совсем не традиционно трактует Хониат императорскую власть в «Истории». Разумеется, стереотипы императорского культа можно обнаружить и здесь, — но вот что любопытно: они вложены обычно в уста персонажей Хониата, подаются в прямой, не в авторской речи. Это Исаак II называет себя помазанником господа, а Константин Трипсих, приспешник Андроника I, объявляет самодержавие божественным. Сам же Хониат высмеивает, например, свойственное царям заблуждение, будто господь дал им право посылать тысячи подданных на убой, словно скот. Он осуждает царей, стремящихся распорядиться государством, словно отчим достоянием, и трактующих подданных как рабов. Он возмущается царями, что предаются праздности, храпят слаще Эндимиона (героя греческого мифа, усыпленного юноши) и с утра садятся за пиршества, тогда как дела страны идут все хуже и хуже. Он обрушивается на царскую роскошь, на безрассудные траты, на несправедливость и подозрительность монархов. Подобно тому как высокие сосны при слабейшем ветерке уже шелестят своими иглами, цари сразу же пугаются благородного и мужественного человека, теряют сон и негодуют на природу, создавшую помимо них других людей, достойных власт-

зовать. И в самом общем виде Хониат констатирует: всевластие самодержцев лишает их в конце концов рас-судка.

В серии царских образов, созданных Никитой Хони-атом, особое место занимает характеристика Андроника Комнина. Двоюродный брат Мануила I, он вырос у са-мого подножия трона, он получил все, что можно было,— образование, власть, богатство. Природа наделила его кра-сотой, но не только ею, она наделила его жгучей жаж-дой, которая заставляла его спешить, искать, добиваться. Он добивался женщин, до старости подстегивая себя ле-карственными снадобьями; он искал денег и брал в долг у итальянских ростовщиков; он жаждал престола, и Ма-нуил не без оснований видел в двоюродном брате опас-ного соперника. Андроник пережил тюрьму, бежал на Русь, примирился с Мануилом, был назначен наместни-ком, познал горечь военного поражения, искал приюта у своей родственницы, вдовы иерусалимского короля. Всту-пил с ней в связь, опять бежал, скитаясь в Сирии и Закавказье и наконец явился к царственному кузену и бросился к его стопам, протягивая железную цепь и умо-ляя, чтобы за эту цепь его позорно волочили по полу. Мануил брезгливо поморщился и отправил его в ссылку, в пафлагонский городок Иней, номинально поручив Анд-ронику командовать захоластным гарнизоном.

И вот Мануил умер. Андроник был уже лысым ста-риком, но спокойствие не снизошло на него. Он интри-говал, пользуясь тем, что опекуны Алексея II (сына и наследника Мануила I) снискали всеобщую ненависть. Он обещал райскую жизнь всем. Он заявлял, что обязан защитить своего племянника. И Андронику поверили: его поддержали пафлагонские земледельцы и константино-польский плебс, его сторону приняли столичные чинов-ники. Он явился в Константинополь спасителем и нако-нец достиг того, за чем гнался всю жизнь,— престола.

Победа Андроника повлекла за собой царство террора. Погибла верхушка византийской знати: император Алек-сей, его сестра, его мать — вдовствующая императрица. Погибли ближайшие родственники императорского дома. Тюрьмы были полны. Люди умирали — сожженные, заби-тые камнями. И вся эта расправа совершалась внешне с соблюдением полнейшей законности: Андроник сам не выносил приговоров — это делали судьи, подчиняясь его

намекам и опережая его желания, а государь проливал слезы над несчастиями своих жертв.

Андроник в изображении Хониата — отнюдь не наместник божества. И в то же время он не слуга дьявола, не Антихрист, не воплощение космического зла. Его образ (как и образы других византийских императоров) десакрализован: перед нами встает человек, несомненно одаренный, мужественный, пренебрегавший болезнями и физической усталостью, но вместе с тем развратный, честолюбивый, безжалостный, лицемерный. От культа императорской власти не остается и следа. Хониат прямо смеется над теми, кто поддерживал императорский культ. С иронией говорит он об Иоанне Айофеодорите, который всегда устремлял глаза на лик государя и принимал его повеления, словно выражение высшей воли.

Одна любопытная черта — отношение Хониата к символике цвета, к «царским» цветам. Средневековые вообще склонно было обнаруживать высший («символический») смысл в фактах, казалось бы, ординарных, в обыденных явлениях. Византийцы разработали сложную систему символов, и в ней важное место принадлежало истолкованию цветовой гаммы. Цвета разделялись на высшие и низшие, причем золото и пурпур считались специфически царскими цветами: только император мог носить пурпурные сапоги, только государь подписывался пурпурными чернилами.

Традиционная символика «императорского» цвета разрабатывается Хониатом в его официальных сочинениях — в речах. Он прославляет Исаака Ангела, который кровью побежденных варваров окрасил реку Мораву и своим грозным копьем, словно каламом, погруженным в эти алые чернила, подписал грамоту об освобождении от варваров, начертав им «багряную смерть» (гомеровское выражение — см. «Илиада», V, 83). И в «Истории» нередко пурпурные чернила сопоставляются с кровью: Мануил I пурпуром царских чернил, словно кровью, отогрел и оживил законодательство Никифора Фоки о монастырском землевладении. Но иногда тот же образ приобретает в «Истории» противоположное значение или, во всяком случае, противоположную оценку. Мануил I посылает грамоту об аресте Андроника Комнина, грамоту, не забывает добавить Хониат, подписанную пурпурными чернилами. И затем продолжает: пожалуй, глаза Андроника

окрасились бы кровью или он познал бы «багряную смерть», если бы послание государя не попало ему в руки. Юный Алексей II подписывает грамоту о казни матери «попросту каплями материнской крови». Пурпур чернил Андроника I грозит нарушителям его повелений пролитием не слез, а крови. Его пурпурная одежда кажется Хониату обрызганной кровью. Здесь те же образы, та же аллюзия на Гомера с его «багряной смертью». Но кровь-то не варварская, и пролитие ее не вызывает восторга историка: императорский пурпур переплетается в его представлении с кровавой жестокостью царского произвола.

Не менее отчетлива ирония Хониата по поводу золотой символики императорских одеяний. В битве при Мириокефале, в битве, бесславно проигранной Мануилом I, император надел поверх панциря златотканый плащ — «цвета желчи», как насмешливо обозначает его Хониат, влагающий в уста турецкого посла замечание, что цвет этот — дурной символ, не подходящий для часа сражения.

Итак, императорская символика словно бы вывернута наизнанку: царский пурпур сопрягается с кровью расправ, царское золото оборачивается мрачным «цветом желчи», сулящим поражение.

Но если царская власть лишена Хониатом божественного ореола, где, в какой общественной среде ищет он в пору тяжких испытаний опору и силу, способную противостоять надвигающейся гибели? Демократия не привлекает его. Он возмущен тем, что простонародье, оставив портняжку и иглу и едва отмыв руки от гончарной глины, лезет в ряды воинов-стратиотов. Он негодует, когда обсуждение догматических вопросов выносятся на площади и перекрестки. Он негодует, видя вчерашнюю чернь устремляющей глаза к царской власти, и прямо заявляет, что коллективные решения куда хуже единодержавия. Народ — и особенно константинопольский плебс — предмет постоянных инвектив Хониата. Это болтуны, пьяницы, глупцы, трусы, у которых худшее всегда берет верх; люди, не способные пойти по лучшей дороге и внимать добрым советам. В любом городе, утверждает он, толпа безрассудна, а особенно в Константинополе, где она готова к бунту, — ведь столичное население многоплеменно, у людей здесь разные занятия и потому разные взгляды. Иногда константинопольский плебс смело

ополчается против вооруженных войск, продолжает писатель, иногда оказывается трусливым и позволяет попирать себя ногами. Настроение толпы переменчиво: сегодня она выбирает своего кумира властителем, завтра начинает порицать его как злодея.

Да и о других общественных слоях писатель отзывается не слишком уважительно. Монашество и духовенство обрисованы с нескрываемой хронией. Почему, спрашивает Никита, никто из высокотронных иерархов не помог стране во время опасной войны с болгарами, не расследовал причины неудач, а долгобородые монахи только натягивали себе клобук до самого носа? Иноки отрастили бороды и прикидываются боголюбцами, но в нарушение монастырских правил пируют с вельможами и обжираются жирной рыбой. Не мягче суждение Хониата и о том общественном слое, к которому он принадлежал по своему положению, — о служилой знати. Безудержная лесть и угодничество, корыстолюбие и взяточничество, несправедливый суд и невежество должностных лиц — такова непривлекательная картина придворной жизни, нарисованная Хониатом. Выскочки вызывают его презрение: говоря об Иоанне Спиридонаки, он издевается даже над внешностью этого «человечишки», ремесленника по происхождению, который всякими правдами и неправдами дослужился при дворе до высоких постов. Историк возмущен произволом Алексея III, повышавшего царедворцев в чинах не по заведенному порядку, но возносившего случайных людей, и к тому же минувя соответствующую ступень.

Один за другим проходят в его изображении царские фавориты и вельможи. Вот, к примеру, Иоанн Путцийский, ведавший налоговым обложением при Иоанне II и его сыне Мануиле I. Человек патологической скаредности, он продавал на базаре то, что давали ему как взятку. Бывало, смеется Хониат, приносили в «дар» редкостную рыбину, а Иоанн отправлял ее на продажу. Другой взяточник покупал ее, и морское чудо снова попадало на стол всемогущего чиновника и снова оказывалось на базарных лотках — и так до трех раз! Как-то Иоанн стал жертвой насмешников, которые подложили на его пути пустячный предмет — железную подкову. Главный податной сборщик сам кинулся ее подбирать, но подкова была только что из горна, и скряга обжег себе руки.

Пожалуй, только одно общественное сословие вызывает какую-то симпатию Хониата. Это аристократия. Благородное происхождение увязывается в его сознании с активностью, с боевым мужеством. Правда, похвалы знати непоследовательны и спорадичны, они сменяются насмешками над царской родней, украшавшей себя пышными прическами и золотыми ожерельями, но незнакомой с боевым сигналом, и все-таки именно к этому слою принадлежат те редкие люди, к которым писатель относится сочувственно. Не на купцов и монахов, не на податных сборщиков и судейских, а на высшую военную знать Византии, военачальников из Кондостефанов, Палеологов, Кантакузинов или Ватацов возлагает известные надежды Хониат.

Помимо благородного происхождения и воинской доблести историк высоко ценит также образованность (особенно философию — как высшую ступень образования), ораторское искусство, общительность, телесную красоту. К этим светским достоинствам, необходимым византийскому аристократу, он присоединяет еще и некоторые христианские добродетели — такие, как сострадание и щедрость.

В соответствии с этим аристократические порядки западного феодального мира явным образом привлекали Хониата, хотя, казалось бы, он должен был ненавидеть Запад, ибо пережил третий и четвертый крестовые походы (он пишет также и о втором — 1147 г. — но, разумеется, не по своим наблюдениям), взятие Солуни норманнами, был свидетелем постоянных конфликтов с итальянскими купцами, норманнскими правителями, германскими государями. Разумеется, то, что можно было бы назвать его «западничеством», объясняется, как мы увидим, не только его социальными симпатиями, но и редкой для средневековья широтой взглядов.

Достаточно сопоставить описание второго крестового похода у Хониата и у старшего его современника, соратника Мануила I Иоанна Киннама. Вывод Киннама однозначен: крестоносцы виноваты во всех недоразумениях, а отношение к ним византийского правительства абсолютно оправданно и справедливо.

В принципе Хониат также придерживается традиционного представления об избранничестве византийцев — «святого народа», находящегося под покровитель-

ством господ. В общем виде он противопоставляет Ромейскую империю, мать цивилизации, варварам — иноземцам, грабителям, корыстолюбцам, обжорам, невеждам, у которых не находят себе пристанища хариты и музыки. Варвары не в состоянии сдержать свою раздражительность, а когда они пытаются говорить, слюна вылетает у них изо рта раньше слов. Однако Хониат куда более осторожен в оценках: осуждает нечестные действия Мануила по отношению к участникам похода, винит византийцев в обмане рыцарей, а вместе с тем подчеркивает мужество иноземцев. О воинской доблести латинян речь идет многократно также в следующих разделах, и сравнение их с византийцами обычно оказывается не в пользу соотечественников Хониата. Достоинствам германского императора Фридриха Барбароссы (1152—1190) посвящен особый панегирик; среди этих достоинств — благородство происхождения, разум, непобедимость в битве и удивительное христолюбие: Хониат даже сопоставляет Фридриха с апостолом Павлом. Писатель прославляет красоту, мужество, разум, силу Конрада Монферратского и многих других латинян. И даже в самом конце книги, приближаясь к печальной развязке, Хониат вспоминает о венецианском купце, который был ему другом с той поры, как писатель спас его вместе с женой, и прямо называет глупостью и бессмыслицей неразборчивую враждебность к латинянам, нежелание отличить в их среде друга от врага.

Мы должны очень хорошо представить себе, в каких условиях это писалось, — накануне и вскоре после падения Константинополя, когда враждебность к латинянам широко распространилась в разных слоях византийского общества и духовенство особенно интенсивно подогревало это чувство. Старые церковные споры теперь превратились в настоящую схизму, в раскол. Хониат же оказался выше этой слепой ненависти.

Размышляя о причинах вражды между латинянами и византийцами, Никита не ищет объяснения в вероисповедной розни: пропасть между двумя мирами коренилась, по его убеждению, в зависти латинян к благоденствию империи, к ее богатству и роскоши, а недоверие и коварство ромейских политических деятелей со своей стороны усиливало вековую враждебность. При этом историк подчеркивает различие социально-политиче-

ского устройства Византии и стран Запада, противопоставляет Запад Византии.

Есть в «Истории» любопытнейший эпизод — рассказ о прибытии в 1189 г. византийского посольства к Фридриху Барбароссе, одному из любимцев Хониата. Принимая ромеев, рассказывает Никита, Фридрих приказал сесть не только послам, но и всем сопровождавшим их слугам — вплоть до поваров и конюхов. Он поступил так, оказывается, в насмешку над ромеями; он хотел подчеркнуть, что в Византии не чтут доблесть и родовитость, но всех, словно свиней в хлев, загоняют в общее стойло. Не станем сейчас разбираться, в какой мере приведенная тут оценка отвечала византийской действительности конца XII в., — это другая задача, и не здесь ее решать. Не будем также доискиваться, кому принадлежит объяснение поступка Фридриха — самому германскому императору или его византийскому панегиристу. В данной связи нам важно лишь то, что в понимании героя Хониата (и, соответственно самого Хониата) западное общество отличалось большим аристократизмом. И, поскольку аристократизм у Хониата сопрягается, как мы видели, с доблестью и энергией, эти качества оказываются свойственными многим из его персонажей-латинян.

Противопоставление Византии и Запада имело в глазах Хониата еще и иной аспект. На Западе, говорит он, давно уже знали, что в Ромейской державе только и заняты пьянством и что ее столица превратилась в новый Сибарис, утопающий в неге. На Западе, пишет он в другом месте, византийцев называют ехиднами-матерубийцами, имея в виду отсутствие в империи верности государю, бесчисленные государственные перевороты, неустойчивость политического устройства. Иными словами, Хониат вспоминает о Западе, когда говорит о моральном упадке византийского общества; Запад видится ему осуждающе глядящим на безнравственную, изнеженную, развращенную Византию.

Хониат описал катастрофу — падение Византийской империи, и мы видим, что это падение представляется ему отнюдь не случайностью. Трагедия Византии в испорченности государей и вместе с тем в испорченности всего общества, за исключением разве что некоторой части аристократии, да и то уступавшей в отваге и благородстве западному рыцарству. Каковы, по Хониату, эти язвы

общественной жизни? Прежде всего эгоизм, себялюбие, забота исключительно о самом себе. Люди забывают о близких, родных, родине — ими движет лишь желание спасти себя, корыстная трусость. Моральные нормы утратили сдерживающую силу — человек действует, только руководствуясь обстоятельствами и масштабами своих сил, по принципу «все дозволено». Хониат обостренно ощущает нестабильность, неустойчивость, подвижность, или как он иногда говорит, пестроту сущего. Неустойчив общественный порядок, слуги неверны господину, изменчивы людские настроения, нестабильно положение человека.

Официальное христианское учение исходило из ничтожности земных богатств, и Хониат прославлял нестяжательство и осуждал сребролюбие. Но подобные традиционные суждения оттесняются другой, для него гораздо более важной темой — трагической нестойкостью собственности. Конфискация имущества, разграбление имущества — об этом Хониат говорит непрестанно: и не ликование нестяжателя порождает у него рассказы о грабежах и конфискациях, но теплое сочувствие ограбленным и скорбь, рожденную ощущением нестабильности общественного устройства.

Но если нестабильность имущественных отношений огорчает и гнетет Хониата, то куда в большей степени гнетет его ощущение незащищенности человеческой жизни. С каким-то болезненным постоянством вновь и вновь говорит о казнях писатель, переживший террор Андроника I. Рассказ об отрезанной голове, которую либо поднимают на песте, либо бросают к ногам правителя, о голове с оскаленными зубами, которую пинают ногами, перебрасывают, словно мяч, превращается, повторяясь, в стереотип: мы слышим об отрезанных головах Андроника Ватаца, Алексея II, Феодора Кантакузина, Алексея Враны, мятежника Псевдо-Алексея, еще одного Ватаца (при Алексее III), наконец, Иоанна Толстого. В этом стереотипе не только средневековое любование ужасами (такова, бесспорно, природа повести о жестокости германского императора Генриха VI (1190—1197) в Сицилии, где он одного заговорщика сварил в кипящей воде, другого бросил в костер, третьего утопил, а вождю заговора приказал прибить медную корону ко лбу), но и чувство отвращения к самой возможности безжа-

лостной расправы с человеком, свойственное немногим средневековым историкам.

Сопоставим два эпизода, переданные Анной Комнин и Никитой Хониатом. В том и другом идет речь о мучительной казни государственного преступника — о сожжении на костре, но как по-разному оценивают эту казнь оба писателя! Анна повествует о расправе с богомилом Василием. Ни слова сочувствия у писательницы-женщины, ни малейшего содрогания перед страданиями сжигаемого человека. Только одно беспокоит Анну: как бы демоны, поддерживающие богомилов, не вынесли Василия живым из огня и как бы не причинило это ущерба православной вере. Она спокойно констатирует: «Пламя, как будто разгневавшись на него, целиком сожгло нечестивца, так что даже запах никакой не пошел и дым от огня вовсе не изменился, разве что в середине пламени появилась тонкая линия из дыма»<sup>4</sup>.

Напротив, рассказ Никиты Хониата о сожжении юноши Мамала не просто пронизан сочувствием к жертве насилия — он передает человеческий страх Мамала, которого шестами загнали в огонь и который в ужасе бросался на острия шестов, предпочитая эту боль мучениям в пламени. Мало того, Хониат осуждает казнь вообще: это — всесожжение, вожделенное для демонов, превосходящее «тавроскифскую жестокость» (античные писатели считали, что тавроскифы совершают человеческие жертвоприношения), противоречащее христианским нормам.

Сочувствие Мамалу не случайно. Переживший кровавое правление Андроника I, писатель неоднократно возвращается к мысли о святости человеческой жизни. Изложив содержание указа Андроника о карах для заговорщиков, Хониат пишет, что он потрясен этим постановлением; он особенно возмущен тем, что законодатели приписали богу собственную злую мысль, подсказанную «древним человекоубийцей», т. е. дьяволом. Ведь господь определенно вещал, что не желает смерти грешника, но хочет, чтобы тот обратился к истине и жил. И в другом месте Хониат изображает всеобщее ликование, рожденное законом Исаака Ангела, запретившего членовредительские наказания — столь распространенные в Византии отсечение рук или ног, выжигание глаз, отрезание ушей или носа, — даже для худшего из преступников, даже для царевбийцы.

Ни в чем, пожалуй, человечность и терпимость Хониата не выразились с такой отчетливостью, как в нравственной (этической) характеристике действующих лиц. Раннесредневековые византийские хронисты, подобно Феофану, или византийские агиографы и риторы последовательно делили человечество на благочестивую и, следовательно, «положительную» часть и на людей нечестивых, злых, «отрицательных». Такое «оценочное» разделение оставалось нормой и для историков XII в. — для Зонары, Анны Комнин, Киннама: панегирику всюду противостоял «псбгос», хула, хотя, разумеется, у разных авторов оценка одного и того же персонажа оказывалась различной.

Хониат нарушает утвердившуюся традицию (нарушает, замечу попутно, в «Истории», но никогда — в речах, где построение образов вполне канонично). Он даже с некоторой навязчивостью настаивает на сложности человеческого характера, на сочетании в одном и том же человеке противоположных качеств. Выше шла речь об отношении писателя к Фридриху Барбароссе, об отношении, казалось бы, чисто панегирическом, однако жестокости Фридриха, распорядившегося умертвить заложников-сельджуков, Хониат и не думает скрывать.

Но Барбаросса в общем-то эпизодический персонаж, а принцип противоречивой сложности человеческого характера приложен и к построению образов главных героев повествования — таких, как Мануил I или Андроник Комнин. Мануил в изображении Хониата умен, энергичен, смел в битвах; уже на пороге смерти, когда понадобилось выступить на помощь осажденному турками Клавдиополю, он спешно двинулся в путь, не взяв с собой ни постели, ни подстилки; он двигался ночами, освещая путь факелами, а спал на земле, подстелив ветки и хворост. Но вместе с тем Мануил сладострастен, недержан в гневе, безгранично доверяет астрологам и предсказателям. В мирное время, как бы подводит итог Хониат, казалось, смысл жизни для Мануила состоял в наслаждении, ибо он предавался неге и роскоши, обжирался и слушал музыку, но в трудную пору начисто забывал обо всех сладостных удовольствиях. И еще любопытнее другая мысль Хониата: не следует упрекать Мануила за его действия; пусть он и не сумел улучшить положение Ромейской империи и подчинить чужеземцев своей

власти, но ведь государь изо всех сил старался это сделать.

Пожалуй, в целом Хониат все-таки любит Мануилом, его рыцарственностью, его самоотверженностью, хотя и не скрывает его просчетов и неудач. Напротив, Андроника I историк ненавидит: Андроник для него, повторю еще раз, мерзкий плешивец, кровожадный тиран, лицедей и развратник. Но его отвага и находчивость, скромность его быта не скрыты от читателя, и ряду мероприятий Андроника Хониат в полной мере отдает должное, рисуя даже идиллическую картину благоденствия, будто бы наступившего в стране в короткий период царствования узурпатора. Но думается, что это продиктовано не действительными фактами, а своеобразно понятым принципом объективности, необходимостью отыскать позитивный противовес мерзостям тирана. И как показательно, что Хониат сострадает и жертвам Андроника, и ему самому, погибшему во время бунта, когда вчерашнего владыку посадили на паршивого верблюда, возили по константинопольским улицам, поливали кипящей водой, кололи мечами.

При конструировании сложно-противоречивого человеческого характера художник подчас берет в Хониате верх над историком, действительность отступает перед художественным замыслом. Никита смеется над суеверием Мануила I, которому предсказали наступление катаклизма; напуганный государь приказал вынуть стекла из дворцовых окон, копать ямы и убежища, чтобы пережить грозные вихри. Предвещание катаклизма, о котором упоминает Хониат, и в самом деле волновало астрологов на Востоке и на Западе. О нем упоминают многочисленные арабские, персидские, латинские авторы. По суждению астрологов, грозные события должны были произойти примерно 16 сентября 1186 г. В этот день должна была иметь место редкая конstellляция планет — соединение их в созвездии Весов, что вызвало бы ветры, песчаные бури, разрушение городов и гибель многих людей. Астрономические выкладки подтверждают, что указанная конstellляция действительно приходилась на 15—16 сентября 1186 г.<sup>5</sup> Однако эта дата выходит за хронологические рамки царствования Мануила, скончавшегося еще в 1180 г. Во всяком случае, испанские и сицилийские звездочеты только в 1184 г. рассылали письма, предвещав-

шие стихийное бедствие. Подготовка к катаклизму 1186 г. если и проводилась в Константинополе (а это вполне вероятно), то не при Мануиле, а при одном из его приемников — скорее всего, при Андронике I. Однако писатель перенес это событие в эпоху царствования Мануила I и с сарказмом отзывался о Мануиле.

Именно человечность («гуманизм») Хониата заставляет его со скорбью смотреть на эгоистическое и нестабильное общественное устройство Византийской империи, на современное ему общество, пропитанное жадностью и лицемерием, трусостью и гневливостью, надменностью и иными бесчисленными пороками. Что, однако ж, мог он противопоставить развращенности византийского общества? Может быть, традиционный христиански-аскетический идеал, который на все лады расписывала и прославляла агиографическая литература?

На первый взгляд кажется, что на этот вопрос можно ответить утвердительно. Добродетель, богословская образованность, смирение — этими качествами Хониат наделяет ряд константинопольских патриархов, о которых пишет с уважением. Но в самом ли деле эти аскетические свойства представляются писателю достоинствами? Известно, что «тапíносис», смирение — краеугольный камень византийской аскетической этики, Хониат же заявляет с удовлетворенностью: ромеи отбросили «смирение духа» и разбили норманнов. Еще заметнее скепсис и ирония в отношении агиографического идеала проступают в характеристике графа Балдуина Фландрского, избранного в 1204 г. константинопольским императором, избранного, как пишет Хониат, по интригам венецианцев, хотевших видеть на престоле человека мягкого нрава, не обладающего царственным разумом. После столь определенной оценки Балдуина Хониат продолжает: говорят (он словно отстраняется от собственного суждения), что Балдуин благочестив и целомудрен, ведет скромный образ жизни, на женщин даже глядеть не хочет, бесконечно твердит божественные гимны, поддерживает нуждающихся и терпеливо выслушивает тех, кто ему противоречит. Что это — действительное восхищение простоватым аскетом, занявшим престол византийских государей, или насмешка? Конечно, насмешка. «А самое главное, — заканчивает Хониат иронический панегирик, — он приказывал дважды в неделю по вечерам объявлять, чтобы

никто в его дворце не смел спать ни с какими женщинами, помимо законных жен». Здесь все пропитано иронией: не только точность и детализация целомудрия, но прежде всего отнесение благочестия и целомудрия к латинскому феодалу, отстаивавшему будто бы (вспомним оговорку Хониата: «говорят») аскетические моральные принципы посреди насилий латинян, описанных самим Никитой. Хониат ценит иные — светские — достоинства: знание, опыт, мужество, энергию. И еще одно качество, которое заботит Хониата, — верность, сохранение родственных связей, дружеских отношений, соблюдение обязательств, данных господину. О родстве, этом «священном даре природы», Никита вспоминает неоднократно, и показательно, что почти всякий раз он говорит о людях, нападающих на своих, забыв о «законе родства»; о тиране, не считающемся с родством; о детях сельджукского правителя, пренебрегающих узами родства; о вражде между сыновьями Стефана Немани из-за власти; братоубийство, замечает историк по этому поводу, родившись в Константинополе, распространилось затем среди персов, тавроскифов, далматов, паннонцев и других народов.

И проблема «филии», дружбы, заботит Хониата. Здесь нужно остановиться и выяснить, какое именно содержание вкладывает писатель в понятие «филия». Конечно, можно отметить немало случаев, когда этот термин употреблен в «Истории» в своем обыденно-традиционном значении, но иногда контекст наводит на размышления. Мануил I, рассказывает Хониат, послал в итальянский город Анкону своих людей, поручив им привлечь к «филии» тех, кого называют «лидзиями». Лидзий — средневековое латинское слово (*ligius*), обозначавшее «верного» человека, вассала; связь «филии» с лидзиями знаменательна: здесь, по всей видимости, привлечение к «дружбе» оказывается вовлечением в вассальную систему связей. В других местах идет речь о «фйли» царя, о царских друзьях. Но как можно было быть другом византийского самодержца, рассматривавшего всех подданных как своих рабов? Царские «фили» — не равноправные друзья, а верные люди; «филия», следовательно, понимается (в некоторых случаях) как подобие феодальной верности, вассалитета.

Но дело не только и не столько в терминологии. Вер-

ность господину — верность, столь редко соблюдавшаяся в Византии, — представляется Хониату бесспорным достоинством. Он подробно рассказывает историю Пуака, отважного воина, отличившегося в войне с норманнами. Позднее Пуак помог бежать Андронику Комнину из тюрьмы, куда его бросил Мануил I. По царскому приказу Пуака подвергли бичеванию и водили по улицам, громогласно именую «врагом императора», а он, пренебрегая побоями, заявлял: «Пусть, кто хочет, считает мое поведение позорным, но я не предал благодетеля, не оттолкнул его, оскорбив, но служил ему, как умел, и дал возможность уйти в веселии». Верность господину, личная верность, поставлена здесь выше подданства.

Мы возвращаемся, таким образом, к началу наших рассуждений о моральных принципах Никиты Хониата: в отчаянии перед неустойчивостью и себялюбием византийского общества, он искал выхода не в христианском аскетическом идеале, но в принципах родства и «дружбы», в принципах, напоминавших рыцарскую идею вассальной верности.

Нравственное назначение «Истории» Хониата было подчеркнуто автором предисловия к женевскому изданию, выпущенному в 1593 г. Время, описанное Никитой, говорится в этом предисловии, очень сходно с нашим временем (т. е. с эпохой контрреформации и утверждения абсолютизма). Трагедия Греции и придворные язвы легко могут быть отнесены к «нашему времени». Вдумываясь в сказанное Хониатом, читатель начнет понимать, продолжает автор, что нужно уважать справедливость и не забывать о боге, что Хониат приводит свободные воззрения честных государственных мужей, чуждых подлости и притворства, высказывающих чистую правду, что политической доблести учит его сочинение<sup>6</sup>.

Общественные и нравственные идеалы Хониата порождены, если так можно выразиться, его трагическим восприятием действительности, ощущением надвигающейся катастрофы и затем, в поздних частях, переживанием катастрофы совершившейся. Ожидание катастрофы пронизывает и образную систему «Истории», в которой удивительным образом сочетается традиционное и личное, стереотип и индивидуальное видение.

Как всякий средневековый писатель, Никита Хониат мыслит и оперирует готовыми формулами — клише, или

стереотипами, — почерпнутыми в литературной традиции — в Библии, в гомеровских поэмах. Но стереотип выражения не означает или, во всяком случае, далеко не всегда означает отсутствие искреннего чувства. Напротив, готовая формула, рождающая у образованного читателя определенные аллюзии, может создавать эмоциональную напряженность: недаром Хониат, переходя к описанию падения Константинополя, резко увеличивает число библейских формул. Он поступает так не потому, что не способен отлить свои чувства в свежие формы, но потому, что библейский пафос, порождающий дополнительные ассоциации, кажется ему (и, видимо, его читателю) более соответствующим драматизму ситуации, нежели будничная, лишенная риторического накала речь.

Стереотип, однако, сочетается с конкретно-индивидуальным в характеристиках героев, и подобное сочетание обобщенно-деконкретизованной формулы с неповторимым своеобразием образа дает неожиданный эффект. На страницах «Истории» Хониата проходит длинная вереница византийских императоров, и каждый из них: рыцарственный Мануил, беспомощный юноша Алексей II, кровожадный лицемер Андроник, обжора Исаак II, беспринципный Алексей III — не похож на другого, наделен своими, ему одному присущими свойствами. Образы индивидуальны, но не только индивидуальны. О каждом или почти о каждом государе Хониат сообщает: наслаждался покоем на Пропонтиде, развлекался зрелищами ипподрома; при описании вступления на престол Мануила I, Исаака II и Алексея III дурные предзнаменования Никита всякий раз связывает со странным поведением коня. Поступки Алексея III словно повторяют действия Андроника I: оба высмеивают внешнеполитическую угрозу и занимаются пустяками в момент наивысшей внешней опасности; оба собирают для обороны корабли и разрушают жилища около стен; оба бегут из Константинополя с любовницами. А параллелизм в образах Андроника I и Исаака II доходит до того, что и тому и другому приписывается разрушение одного и того же Манганского дворца!

Чего достигает Хониат этой итеративностью, переходящей в стереотип, в стереотип, воспринимаемый тем более отчетливо потому, что он образуется на фоне индивидуализированных характеристик? Хониат создает ощу-

щение повторяемости в действиях императоров, ощущение известной закономерности их акций; сколь бы разными они ни были, в их поступках заключается нечто общее, заключается, если так можно сказать, известный стереотип поведения. Хониат не формулирует эту мысль с научной определенностью, но внушает ее читателю; он обращается не к разуму, а к эмоциональному восприятию и для достижения этого эффективно использует систему клише.

И еще один пример итеративности. Говоря об Исааке Ангеле, Хониат все время возвращается к теме обжорства. Конрада Монферратского он заставляет упрекнуть государя в том, что тот пирует с большим рвением, чем ведет войну, а Исаак, покраснев, отвечает, что все свое время — и воевать, и обедать. Этот разговор происходит перед битвой с мятежным Алексеем Враной, а после подавления мятежа Исаак устраивает обильную трапезу, причем Хониат замечает, что ворота дворца были распахнуты и каждый мог заходить и смотреть на пирующего государя, который жадно глотал пищу и «подвигал руки на войну» против поданных ему блюд. Когда Исаак вернул из монастыря незаконного сына Мануила I, он прежде всего посадил его с собою за стол и принялся потчевать. Во время обедов Исаака везде громоздились горы сластей, рыб, хлебов, дичи и разливалось море вина. Рассказ о низложении императора завершается ироническим сожалением, что отныне Исааку пришлось довольствоваться скромным количеством вина и хлеба, а после сообщения о его восстановлении сразу же появляются монахи, объедающиеся за пиршественным столом государя. Настойчивое повторение темы благодушно радостного гурманства создает отчетливый фон для конструирования образа, фон, который рождает ощущение фарса, комедийности и сам по себе, и тем более потому, что противостоит близкому стереотипу, пронизывающему (уже с трагедийной окраской) историю Андроника I — теме поджаривания и пожирания людей.

Среди излюбленных стереотипов Хониата — образ бурного моря и корабля, потерявшего управление. Казалось бы, перед нами чисто литературная ассоциация, восходящая к «Деяниям апостольским» и глубже, к греческой классике. Примеров можно привести сколько угодно, но я не стану этого делать. Вместо отыска-

ния литературных корней я позволю себе применить прием, к которому уже не раз обращался, — противопоставление.

Столетием раньше Хониата жил другой большой византийский прозаик Михаил Пселл, который широко пользовался тем же стереотипом — образом морской бури. Но формула эта подается Пселлом почти всегда в одном аспекте — спасения от бури и возвращения в гавань. Только о Константине IX он по меньшей мере пять раз говорит: «После великих валов и бури он укрылся в гавани царства»<sup>7</sup>, и аналогичная формула прилагается к императрице Феодоре, к Исааку Комнину, к Константину X и, наконец, к самому автору. Здесь господствует тема спасения от бури, которая у Хониата всплывает крайне редко (о Мануиле Камице он говорит: «Словно из обширного моря он добрался до гавани и выплюнул изо рта соленую воду битвы»), напротив, у Пселла образ бури как таковой, бури губительной, сопровождающейся кораблекрушением, весьма редок, а именно он превалирует в «Истории» Хониата.

Но не только стереотип бури привлекает Никиту. В системе его сравнений и метафор постоянно повторяются сеть и западня, змей и зверь (иногда конкретнее — лев или волк), болезнь, падение, яд.

Сознательно или бессознательно ощущение катастрофы находит выражение в довольно однозначном подборе формул. Конечно, образы-клише Хониата не исчерпываются этим кругом, несущим на себе, так сказать, печать губительности, он пользуется также метафорами нейтральными, не соприкасающимися с темой катастрофы, и все же трудно считать случайностью напряженный интерес к буре, к западне, к хищным зверям, к болезням.

Сочетание традиционного и личного, стереотипа и индивидуального суждения проступает в отношении Хониата и к конструктивному материалу повествования — к слову, к фигуре. Не стоит здесь специально говорить об общесредневековых стилистических принципах, присущих и нашему писателю, таких, как устойчивые эпитеты и метафоры, как использование цитаты (преимущественно библейской или гомеровской) в качестве художественного средства. Это бесспорно, и это естественно. Любопытнее проследить другое: как в некоторых случаях эти традиционные приемы неожиданно преобразуются и при-

обретают новые, не стереотипные, а индивидуальные функции.

Основная задача библейской цитаты — разрушить индивидуальность характеризуемого явления, поставить его вне конкретного времени, связать со всемирно-историческими (библейскими) событиями и тем самым придать ему больше пафоса, больше величия. Падение Константинополя, оплаканное цитатами из ветхозаветных пророков, перестает быть эпизодом в истории конкретного города и превращается во всечеловеческую катастрофу. Хониат знает эту силу цитаты и широко ею пользуется, но он умеет использовать библейскую цитату и иначе, в совершенно будничном и индивидуально-конкретном повороте.

Хониат приводит драматический эпизод — столкновение Андроника Комнина с патриархом Феодосием. Они еще не были достаточно знакомы, но, говорит Хониат, патриарх сразу разгадал своего собеседника. Однако он ничего не сказал, а лишь процитировал из книги Иова (42.5): «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя», и еще из псалмов Давида: «Как слышали мы, так и увидели» (Псал. 47.9). И Хониат продолжает: «Не укрылась двусмысленность слов от многоумного Андроника... Словно двулезвийным мечом, двузначностью сказанного была уязвлена его душа». Он как бы играет противоположностью безличного стереотипа, почерпнутого в Писании, и конкретностью личного намека Феодосия, «словно двулезвийным мечом» поражающего Андроника. Сами по себе слова Писания неопределенны — определенность они обретают в данной ситуации, и глубина обретенного смысла оттеняется внешней бессодержательностью цитат.

Главная тема — катастрофа, ожидаемая и затем свершившаяся, — воплощается (думается, не всегда осознанно) также и в том, что можно было бы несколько условно назвать «принципом поворота». Постоянно Хониат, рассказывая о тех или иных событиях, отмечает неожиданность исхода, несоответствие результатов предпосылкам, внезапное изменение ситуации. Примеры подобного рода «поворотов» можно приводить без конца: те, кто хотел избежать дыма податного обложения, попали в огонь рабства; норманны из тех, кто брал в плен, превратились в пленников, из господ — в тех, над кем гос-

подствуют; от Алексея III все ждали военных успехов и исправления прежних ошибок, а он повел себя совсем по-другому; ромейско войско разбило скифов (половцев) и обратило их в бегство, но торжество оказалось недолгим — жадность византийцев погубила все дело, ибо они занялись грабежом и не заметили, как враг вернулся назад и обрушился на грабителей; Алексей III весело забавлялся на масленице, но детские эти забавы были омрачены печальным известием о мятеже Иванко. О неудачной попытке чиновников казначейства присвоить богатства Каломодия Хониат говорит: «Они уже имели источник, да не имели возможности пить из него» — здесь «поворот» усугубляется игрой слов, ибо «источник» («пийин» — винительный падеж) и «пить» («пиин») звучали по-гречески почти одинаково.

Каждый из этих случаев сам по себе незначителен. «Работающей» оказывается множественность, повторяемость подобных «поворотов»; от эпизода к эпизоду усиливается ощущение, что людские надежды тщетны, стремления бесплодны и никто не может знать, куда все движется.

И, вероятно, с «принципом поворота» связано известное пристрастие Хониата к приставке «метá», главное значение которой — перемена. Рассказывая о непостоянстве характера Стефана Немани, он в пределах небольшой страницы шесть раз употребляет глаголы с приставкой «мета», а в коротком эпизоде о заговоре Иванко против Асеня — четырежды. (При выборочных подсчетах оказалось, что в некоторых разделах «Истории» приставка «мета» составляет 3—4% всех приставок, тогда как в хронике Феофана на ее долю приходится обычно 1—1,2%.)

Антитеза — вообще характерный прием средневекового искусства и даже шире — христианского мировоззрения, с его противопоставлением земли и неба, твари и творца. Что Хониат обращается к антитезам, следовательно, не должно никого удивлять. И вместе с тем антитеза у Хониата по своей природе родственна «принципу поворота», и в ней также раскрывается свойственное писателю трагическое восприятие неустойчивой, чреватой катастрофой действительности. Вот характерная антитеза: Андроник I после своей коронации поклялся на святых дарах, что принял власть исключительно ради по-

мощи Алексею II, «которого,— добавляет Хониат,— он несколько дней спустя задушил и выбросил в морскую пучину». И еще одна антитеза, тоже относящаяся к Андронику: он показывался своим вельможам (да и то немногим) лишь в установленные дни, а флейтисток и проституток допускал к себе в любое время. Относительно Исаака II, конфисковавшего украшения из разных церквей, чтобы поместить их в храме Михаила Архангела, Хониат замечает: «Он считал похищение дарением и перенос вкладом».

Вглядимся в эти антитезы. Здесь отнюдь нет противопоставления «верха» и «низа», земли и неба; антитезы Хониата, как правило, десакрализованы, отнесены целиком к земной сфере и обрисовывают нелепость или лицемерие человеческих поступков. Вот почему так действительно подчеркивает Хониат разрыв между истинными замыслами и произнесенным словом, между намерением и клятвой, между выгодой и красивым предложением. Иоанн Каматир одно говорил, другое думал, одно имел на устах, другое на сердце. Исаак Ангел осуждал тех, кто устами был с ним, сердцем же — с мятежным Враной. Об Алексее IV сообщается, что устами он принадлежал ромеям, сердцем же склонялся к латинянам. Подобное обнаружение истинных намерений за благолепной личиной — постоянная тенденция Хониата.

«Принцип поворота» и обилие антитез создают в «Истории» Никиты Хониата настроение нестабильности, предчувствие катастрофы. И эти напряженность и неустойчивость усугубляются размеренностью и организованностью структуры книги. История правления Мануила I описана в семи книгах (частях) — все они примерно одного объема, по 30—32 страницы. Отдельные эпизоды часто заключены в своего рода стилизованную рамку, куда они вписываются, словно византийский портрет в медальон, что порождает ощущение композиционной завершенности, целостности. Рамка возникает из дублирования слов в начале и конце эпизода. Например, Хониат говорит, что Рожер Сицилийский не имел равного себе противника, затем повествует о разграблении Фив сицилийскими норманнами и заканчивает почти так же, как начал: «Не было ему в ту пору противника». Или в экскурсе о скифах (половцах) писатель начинает с констатации, что им легко давалась переправа через Дунай, а затем, обрисо-

вав оружие и быт скифов, повторяет, что они легко переправляются через Дунай.

Течение рассказа медлительно, постоянно прерывается риторическими декламациями, экфразами (описанием местностей или архитектурных сооружений), вставными новеллами и просто повторами, но медлительность Хониата, оттеняющая напряженность конфликта, не есть свидетельство того, что он в рабстве у рассказываемого факта. Хониат не анналист, не регистратор событий, совершавшихся год за годом, он владеет временем и комбинирует факты, подчиняя их сочетание творческому замыслу. Последовательность, которой он руководствуется и о которой время от времени сам — свободно и раскованно — напоминает читателю, не хронологическая, а логическая; каждая книга его «Истории» скорее очерк, эссе, характеристика лица или события, чем последовательное повествование обо всем происходившем в империи. Мы видели, что географический горизонт Хониата субъективно окрашен, произволен — и точно так же субъективен отбор героев. В этом отношении чрезвычайно любопытна V книга истории Мануила I, посвященная, вопреки заголовку, не императору, а византийскому полководцу Андронику Кондостефану, его победе над венграми в 1167 г., походу на Дамьетту в 1169 г. и преследованию венецианского флота в 1171 г. Из многообразной истории Византии тех лет выбираются три события, объединенные личностью героя. Мы ничего не знаем о взаимоотношениях Хониата с аристократом Андроником Кондостефаном, которому писатель явным образом сочувствует, однако известно, что владения семьи Кондостефанов были расположены как раз в долине Меандра, вблизи от Хон, в районе, который пользовался преимущественным вниманием Никиты. Вполне возможно, что субъективный отбор материала определялся и личными связями писателя и героя. (При этом бросается в глаза структурное единство всех трех эпизодов, начинающихся с присылки царского послания, включающих, кроме третьего случая, речи Кондостефана и основанных на противопоставлении его другим лицам: в двух случаях Мануилу I, в одном — Амальриху Иерусалимскому.) По-другому, но тоже очерково строится VII книга истории Мануила I, дающая обзор внутренней политики и богословских споров того времени вне временной последовательности.

Таким образом, художественное время Хониата не совпадает с реальным временем: иными словами, он группирует материал не во временной последовательности (запутанность хронологии, кстати сказать, исследователи византийской истории не раз ставили в упрек Никите). Медлительность повествования Хониата не только оттеняет драматический по существу конфликт, но играет и самостоятельную роль, способствуя неожиданному у средневекового автора стремлению осознать постепенность психологического сдвига. В этом, пожалуй, Хониат намного опередил свое время, и на этой его особенности следует задержаться подробнее.

Мы сопоставим один эпизод «Истории» — свержение Андроника I — с соответствующим рассказом французского хрониста начала XIII в. Роберта де Клари. (Повесть о низложении Андроника, надо заметить, вообще была хорошо известна на Западе: она включена в ряд западных летописей, в том числе в старофранцузское Продолжение хроник Гийома Тирского и в английскую хронику, ошибочно приписываемую Бенедикту из Питерборо.) Речь пойдет не о выяснении достоверности — в этом пункте, конечно, амьепский рыцарь, писавший несколько позднее и по слухам, далеко уступает греку — современнику, и наблюдателю переворота, — а о специфике художественного видения.

Роберт де Клари динамичен, стремителен, склонен к передаче прямой речи, к введению второстепенных, случайных персонажей (в том числе женщин), и на фоне этой стремительности медлительная описательность Хониата проступает с особенной наглядностью. Роберт начинает с попытки ареста Исаака Ангела (Кирсаака), затем повествует о том, как бальи (управитель) Андроника (Хониат сообщает его имя — Айохристофорит) является в дом «доброй дамы», где остановился Кирсаак. После переговоров с ним хозяйка дома идет к Исааку и говорит ему: «Вы мертвец. Вот бальи императора и много людей с ним». Исаак берет шпагу, направляется к бальи и спрашивает его: «Сир, что вы хотите?» Тот отвечает оскорбительно, и тогда Исаак с криком: «Негодяи, вас повесят!» — ударяет бальи шпагой по голове и разрубает ее до зубов<sup>8</sup>.

Повторяю еще раз: здесь все — диалог и действие, тогда как Хониат описывает одежду Исаака, поведение

слуг Айохристофорита, его попытку бежать, его труп, наконец. Он развернуто характеризует с помощью ряда сравнений настроение Исаака. Но самое существенное впереди.

Исаак ищет спасение в храме св. Софии, вокруг которого собирается толпа. Его дальнейшая судьба в изображении амьенского рыцаря представлена четко и определенно: люди восхищены смелостью Исаака, и они говорят друг другу: «Сделаем этого рыцаря императором!»

Совершенно по-другому, психологически несравнимо тоньше повествует о тех же событиях Хониат. Сначала все думали, что к заходу солнца Исаак будет схвачен и подвергнут суровой казни, — теми, кто сбегался к церкви, двигало поначалу чистое любопытство; затем кое-кто осмелился высказать жалость к Исааку и его родным. Но, так как Андроник медлил, собравшиеся осмелели — слышались дерзкие речи, обещания поддержать Исаака. К утру, говорит Хониат, не осталось константинопольца, который бы не молил о низложении Андроника и воцарении Исаака. Еще немного времени, и теперь рискующим осуждать мятежника стали грозить смертью. Толпа росла, люди возбуждались и осыпали бранью тех, кто им не сочувствовал. Наконец, все, прежде трусившие, присоединились к сторонникам Исаака.

Какое удивительное для средневекового художника место! То, что у Роберта де Кларк совершается мгновенно, чуть ли не парадоксально, под пером Хониата получает психологическое обоснование, изображается результатом постепенного процесса.

Субъективно окрашенное повествование Хониата иронично. Живой участник собственного рассказа, он активно относится к героям; он не стремится вынести им величественный вердикт, но смеется над ними — над их внешностью, над их неразумным поведением, над нелепостью их суждений.

Трагическая ситуация кануна IV крестового похода обрисована серией иронически-саркастических частных характеристик: царские евнухи не дают рубить лес для строительства судов, словно это богом насаженный сад (комизм усугубляется игрой слов: по-гречески «эктемйэ» — евнухи и «эктемйн» — рубить восходят к одному корню); командующий флотом Михаил Стрифн распродает по частям корабли; сам царь, Алексей III, за-

нимается пустяками, называя мифом уже стоящую перед глазами опасность (и опять-таки ирония подчеркивается употреблением деконкретизирующего стереотипа: «Он сравнивал с землей холмы и засыпал ущелья»). О фаворите Исаака II Феодоре Кастамоните Хониат рассказывает: у него болели суставы, и потому на приемы к царю Кастамонита вносили на креслице двое слуг, словно винную амфору. Само по себе сравнение высокого государственного мужа с амфорой смело и комично, но Хониат и дальше не расстается в «винной» терминологией, только превращает Кастамонита из «сосуда» в виноторговца, ибо, по словам Никиты, он «торговался» («капилéво» — глагол, обычно прилагавшийся к действиям корчмаря, держателя винной лавки) и задешево продавал судьбы ромеев. А затем ирония Хониата приобретает грозно-саркастические очертания: креслице Кастамонита уже не амфора, но похоронные носилки, перед которыми народ и члены высшего совета оплакивают собственную судьбу, ибо фаворит императора претендует на императорские почести, а сам властитель ничуть не смущается этим. Вот норманнское войско приближается к Константинополю, Андроник I начинает энергичные действия: он сжигает дома, примыкавшие к городским стенам, собирает в гавани боевые корабли. Но, дойдя в своих государственных заботах до этого, продолжает Хониат, Андроник «отвалился», словно сделанного было достаточно для серьезного сопротивления. И еще об Андронике: он сравнивал себя с Давидом и даже считал, что превзошел библейского царя. Почему? Давид, удалившись в изгнание, жил поблизости от Палестины и бедствовал, а Андроник объездил все восточные народы и повсюду был встречен с почетом. Хониат не опровергает Андроника, он только ставит акцент: «Это все он излагал с достаточной убедительностью», — и от такого спокойствия дерзкое самовосхваление Андроника оказывается особенно неуместным.

Нередко повествователь прибегает к словесной эквилибристике, обнаружению неожиданных смысловых значений, противоречий звучания и смысла. Болгарский царь Асень заявляет, что его цель не освободить ромеев, а погубить их: по-гречески «освободить» и «погубить» звучат одинаково — «аполíин», только «погубить» пишется через два «л».

Бессмысленно приводить длинные списки построенных Хониатом созвучий — они предполагают знание греческого. Иногда они традиционны и сводятся к этимологизации имени, как это присуще агиографии: Стефан сопоставляется с венком (по-гречески «стэфанос»), Хрис — с золотом («хрисос»), Аспиет — со щитом («аспйс»). Игра слов такого рода лежит на поверхности, но Хониат использует и более сложные созвучия: щебетание каких сирен (произносилось: «сиринос») привело бы к успокоению («прос иринин»)? В других случаях игра основывается не на созвучии, а на синонимике, на противоречивом сходстве значений. Исаак II был ослеплен; его лишили света, говорит Хониат, те, на кого он полагался, как на собственные очи.

Владение словом само по себе внушает радостное чувство Хониату. Его словарь богат. Он щедро использует редкую лексику, забытые слова. Он придает им новый смысл. Он творит неологизмы. Описывая один какой-либо предмет, он прибегает к разнообразным синонимам: идет ли речь о горшках, которые везет лодочник и которые последовательно названы «тривли́а», «лопа́дес», «кера́миа», «скева́риа», «фо́ртон», или о гробнице Мануила I, обозначаемой словами «мни́а», «сорос», «та́фос» и «ли́фос некроде́гмон» (навеяно, возможно, эсхилевским «Прометеем», строка 153). Иногда нагнетание синонимов усиливает напряжение: так, Андроник Комнин, брошенный в темницу, просит прислать ему веревки для бегства — Хониат использует четыре синонима: сплетенные из льна канаты, клубки бичевы, нити, шнурки. Речь идет не о разных предметах — одно понятие выражено разными словами.

Хониат подбирает бесконечно разнообразные синонимы для обозначения кажущихся ему существенными явлений византийской жизни — особенно для столь частого в ту пору ослепления: не будет преувеличением сказать, что выжигание глаз описано в «Истории» десятками различных способов, тогда как Пселл, к примеру, пользуется однотипными словосочетаниями «тус оффалму́с э́ккóптин» или «тон оффалмо́н апостери́н (афе́рин)».

Я сознательно оставил в стороне вопрос о значении Хониата как историка, о его достоверности, об использованных им источниках. Это большая тема, заслуживающая специального рассмотрения! Здесь же шла речь о

личности Хониата, отразившейся в его «Истории», отразившейся, несмотря на многие черты традиционного, свойственные и этой книге, как всей литературе средневековья.

Византийская литература далеко не всегда похожа на привычные нам образцы. Это верно, но неверно думать, что она лишена творческого начала, что она сводилась только к подражанию и переписыванию старого, что она была книжной в худшем смысле этого слова, т. е. оторванной от социальных и духовных потребностей современника.

Конечно, византийские писатели были разными. Были более и менее талантливые, и самый талант их выявлялся по-разному: у одних — в раскрытии традиционных общественных и художественных идеалов, у других — в скепсисе к традиции и в поисках новых путей. И времена были разными: были эпохи сознательного самоограничения, подавления индивидуального ради общепринятого, были другие времена — относительного освобождения личности. Хониат как бы завершал период относительно-го рационализма и скепсиса, начало которому было положено в середине XI в. и который в XII столетии породил плеяду талантливых литераторов.

## ОТ ТВОРЦА К ЧИТАТЕЛЮ

Какими путями достигали литературные памятники тех, для кого они были созданы?

В Византии, где грамотность (особенно в деревнях) далеко не была всеобщей, устное распространение художественных произведений стало общественной необходимостью. Арефа Кесарийский в схолии к сочинению Филострата «Жизнеописание Аполлония Тианского» упоминает нищих бродяг, которые распевали песни про подвиги знаменитых мужей; они тащились с этими песнями от одних ворот к другим, получая за свое несложное искусство медные деньги. Другие сказители принадлежали к аристократической среде: о Дигенисе Акрите, герое византийского эпоса, рассказывается, что он сложил и распевал, подыгрывая себе на кифаре, «былину» о собственных подвигах; пели песни и агуры — «отроки» из среды византийской знати.

Греко-римская древность создала и иную, значительно более сложную форму устного распространения того, что можно было бы несколько условно назвать художественной информацией: театральное искусство. Театр стал нормальным и необходимым элементом городского быта Римской империи, и Константинополь, византийская столица, унаследовал от античности так называемый Большой театр, возведенный еще при Септимии Севере (193—211).

В условиях Римской империи в театральной жизни произошли коренные перемены. Классическую трагедию и комедию перестали играть. Ее язык стал непонятным, проблематика казалась усложненной, недостаточно развлекательной. Старую трагедию и комедию вытеснила пантомима — буффонадное представление с легковесными намеками на события сегодняшнего дня, сопровождавшееся музыкой, пением, танцами, потешными процессиями, акробатическими номерами. Иной раз сюжеты пантомимы

базировались на классических образцах, переработанных и упрощенных.

Ранняя Византия восприняла не драматическое искусство классической Эллады, но шумную и торопливую римскую пантомиму. Хотя известный набор классической драматургии (избранные пьесы Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана) входил в круг чтения образованного византийца, античная драма не шла на театре. К тому же театр, тесно связанный с языческой мифологией и религией, встречал резкое осуждение христианских идеологов. Иоанн Златоуст не переставал подчеркивать аморальность театральных представлений, где зрителям показывали прелюбодеяние и измену, где актрисы выступали в мишурной позолоте, с подкрашенным лицом и волосами, где танцовщицы выбегали обнаженными и где слышались непристойные речи.

Актеры были поставлены вне общества. Церковные постановления IV в. запрещали актерам (мимам), танцорам, музыкантам, акробатам входить в церковь. Правила Лаодикийского собора 380 г. устанавливали, что священникам надлежит незамедлительно покинуть свадьбу или иное празднество, едва там появятся мимы. Театральные сооружения приходили в запустение, перестраивались, приобретая новые функции: так, археологические раскопки в Салоне показали, что театр перестал выполнять свои функции и превратился в место культа христианских мучеников.

Но, хотя мимами возмущались, их представления в IV—V вв. по-прежнему собирали зрителей. Поэтому не стоит удивляться тому, что Юлиан Отступник (361—363), император, пытавшийся возродить «отеческую веру», возил за собой мимов и приказывал им осмеивать религию христиан. Даже христианнейшего государя Феодосия I (379—395) не без основания упрекали в пристрастии к пантомиме и музыке. Историк-язычник конца V в. Зосим рассказывает: когда готы вторглись в Грецию, против них двинулся полководец Стилихон; сначала ему сопутствовал успех, но затем он увлекся представлениями мимов, забросил дела и позволил варварам уйти от неминуемого разгрома. Так — в изложении Зосима — дурное влияние мимов оказывается чуть ли не решающим фактором мировой истории, ибо в дальнейшем готы, оправившиеся от натиска Стилихона, хлынули в Италию и взяли Рим.

Пожалуй, последняя попытка публично защищать театр приходится на VI столетие. Может быть, смелость любителей театральных зрелищ объяснялась тем, что византийской императрицей, женой Юстиниана I, была красавица Феодора, в юные годы цирковая актриса. Современник Феодоры и Юстиниана Хорикий Газский выступил с речью в защиту пантомимы. Он полемизировал с теми, кто, подобно Иоанну Златоусту, объявлял театр безнравственным. Более того, он отверг христианский тезис, будто смех, возбуждаемый лицедеями, рожден сатаной. Особенно настойчиво повторял Хорикий ту мысль, что театр, показывая человеческую испорченность, отнюдь не способствует упадку нравственности общества и что, если мимы представляют развратников, из этого не следует, что сами они развратны.

И после Хорикия, несмотря на неоднократные запреты церковных соборов, клоуны, танцоры и акробаты продолжали развлекать византийских зрителей. Но отношение к театру оставалось негативным, театр был символом разврата, неверия, язычества, и в пылу политической полемики опасным становилось обвинение в попытке возродить театр. Книголюб и знаток античной литературы Арефа Кесарийский бросил в лицо своему противнику Льву Хирсфакту упрек: «Ну,ставляй же мудрость на всеобщее обозрение (по-гречески сказано «*фэатрідзе*», т. е. «*выставляй на театре*») с помощью театров, мимов, лицедеев и всяческого нечестия, если ты хочешь участвовать в процессии Дионисиев (по греческой мифологии Дионисий, бог винограда, считался покровителем театра.— А. К.) и демонов; кто же воспрепятствует человеку, в демоническом ослеплении отклонившемуся от всевышнего?»<sup>1</sup>

Но, осудив и отвергнув античный театр, византийское христианское общество сохранило его разнообразные элементы. В первую очередь это относится к церковному богослужению.

Главнейшей среди служб считалась литургия, а все остальные как бы выступали подготовительными к ней. Во время литургии не только возносили молитвы, но и совершали умиловительную жертву: здесь ежедневно и в каждой из церквей как бы повторялась мифологическая жертва Христа, и богу приносились тело и кровь Христовы.

Православная литургия состояла из трех частей. Во время первой части — проскомидии (от греческого «проскомидзо» — «приношу») путем особых священнодействий приготавливалось из хлеба и вина вещество для евхаристии (таинства причащения). Во время второй части — литургии оглашенных — исполнялись молитвословия, песнопения, совершались священнодействия и произносились поучения, имевшие огласительный (учительный) характер и предназначенные не только для «верных» (т. е. христиан), но и для оглашенных — лиц, готовящихся к вступлению в христианскую общину. Наконец, во время третьей части — литургии верных (оглашенные к ней не допускались) совершался центральный, по учению церкви, акт всего богослужения — пресуществление, т. е. магическое превращение хлеба и вина, приготовленных во время проскомидии, в тело и кровь Христовы, которые и возносились в жертву богу-отцу, а в заключение давались присутствующим для причащения.

Литургия, таким образом, представляла собой совокупность обращенных к богу молитв и славословий, которые объединялись вокруг сюжетного стержня — центральных эпизодов евангельской истории рождения и смерти Иисуса Христа. Действия носили символический характер: разрезание просфоры-хлебца на проскомидии должно было знаменовать и рождение Христово, и его крестные страдания. Епископ, совершавший богослужение, уподоблялся «великому архиерею» — Иисусу Христу, символом чего служил надетый им омофор, нарамник, обозначавший заблудшую овцу на плечах доброго пастыря, т. е. погрязшее в грехах человечество, спасаемое Христом. Но в определенные моменты епископ снимал с себя омофор в знак покорности, и тогда он переставал «играть роль» великого архиерея, становясь служителем Христа.

Литургия совершалась в торжественной обстановке. Храм освещался свечами. Воскурялись благовония. Главные участники церемонии — священник и диакон — облачались в необычные одежды, каждой детали которых придавалось символическое значение. Слова и возгласы священника и диакона сопровождались рассчитанными на эффект жестами, перемежались процессиями (так называемый малый и великий вход), хоровым пением, которое иногда было антифонным: хор, как и в античной драме, разделялся на два полухория. В литургию включалось и

речитативное чтение отрывков из Библии, а также иной раз и из агиографических памятников. Наконец, к присутствовавшим обращались с проповедью. Особенно драматизированным богослужение становилось во время больших праздников — на пасху или на рождество.

От античного театра литургическое действие отличалось значительно большей привязанностью к культу — ведь античный театр (если только не говорить о его начальном развитии) лишь формально сопровождал религиозные празднества, а затем и вовсе секуляризировался. В соответствии с этим литургическое действие строилось на принципиально иной художественной основе, чем древнегреческая драма. Античное зрелище, оторвавшееся от мифологических корней, ставило целью достичь новизны: пусть его сюжетами подчас служили «крохи с пиршественного стола Гомера», — образы, идеи, метафоры создавались всякий раз новые, а повторение одной и той же пьесы на сцене оказывалось редким исключением. Напротив, литургия оставалась в рамках мифологического времени, и ее задачей было не создание нового, а воспроизведение в памяти мифа, уникальной драмы — всякий раз в тех же словах и с теми же символическими действиями. И все-таки победившее христианство для достижения эстетического воздействия использовало приемы, заимствованные у побежденного Дионисия. Кое-кто из византийцев понимал это. Еще на рубеже IV и V вв. Исидор Пелусиот, ученик Иоанна Златоуста, протестовал против пения в ходе церковной службы. Он протестовал именно потому, что видел в церковной музыке средство возбудить у верующих театральные эмоции. Но ригористический протест Исидора не имел успеха. Литургия прочно включила в себя песнопения, славящие троицу, Христа, богородицу.

Более того, византийцы предприняли попытку драматизировать проповедь, создать «драматизованные гомилии» (беседы), где некоторые эпизоды из жизни Иисуса Христа или девы Марии воспроизводились в диалогической форме. Драматизованы были и литургические песнопения. Кондаки (гимны) Романа Сладкопевца, церковного поэта VI в., включали подчас диалогические элементы. В одном из кондаков Ева беседует со Змеем, в другом — Авраам вступает в разговор с Саррой, а затем с Исааком. Обильно уснащены прямой речью и другие гимны Романа. Можно думать, что разные партии исполнялись разными пев-

цами, а, кроме того, слушатели хором подхватывали рофрен кондака. Диалогизированный гимн не умер вместе с Романом: в посвященных рождеству Христову двенадцати тропарях, авторство которых приписывается иерусалимскому патриарху Софронию (634—638), наряду с рассказчиком получали слово для прямой речи и Мария, и ее супруг Иосиф. Отсюда оставался уже один шаг до духовной драмы, основанной на библейских или агиографических сюжетах. Подобная духовная драма, мистерия, получила чрезвычайно широкое распространение на средневековом Западе, где она, подобно церковной скульптуре, была своего рода Библией для неграмотных, средством распространения библейских сказаний, пусть в упрощенной и вульгаризированной форме. В культуре Византии духовная драма не заняла столь важного места.

В предыдущей главе, сравнивая рассказ французского рыцаря Роберта де Клари с повествованием Никиты Хониата о перевороте Исаака Ангела, мы могли заметить, что все повествование Роберта пронизано динамизмом, что оно несравненно более драматизировано, нежели версия византийского историка. Это явление того же порядка, что и «недоразвитость» византийского театра, и оба феномена в какой-то степени отражают глубокую специфику общественного склада византийцев — их относительно большую уравновешенность или, напротив, выразившуюся в их эстетических принципах тягу к большей уравновешенности.

Наиболее достоверные факты, касающиеся византийской духовной драмы, относятся либо к начальному этапу истории империи, либо к последним векам ее существования.

До нас дошли упоминания о духовной драме на библейский сюжет — истории трех отроков, сожженных в печи огненной вавилонским царем Навуходоносором, которую представляли в константинопольской Софии по воскресеньям перед рождеством в XIV—XV вв. В 1389 г. эту мистирию видел русский путешественник Игнатий Смоленский. В 1432 г. на ее представлении присутствовал бургундец Бертрандон де ля Брокьер. Византийский писатель XV в. Симеон Солунский также упоминает о мистерии трех отроков.

Более подробные сведения имеются о другой духовной драме, сюжетом которой послужил евангельский рассказ

о воскрешении Лазаря. От нее сохранился сценарий с режиссерскими ремарками, например: «Поставь Христа и учеников против гробницы Лазаря, в отдалении Марфу и Марию, сестер Лазаря, а также некоторых иудеев разместить вблизи от гробницы, а того, кто исполняет роль Лазаря, — на гробнице, затынутым погребальными пеленами и прикрытым покрывалом»<sup>2</sup>. Реплики действующих лиц, почерпнутые в основном из Евангелия от Иоанна, приводятся не полностью: автор сценария указывает только начало соответствующего стиха, предполагая продолжение евангельского текста известным или легко доступным актеру.

Сценарий мистерии о воскрешении Лазаря дошел в рукописи XIII в. Написан ли он в этом столетии или относится к XII в., ставили ли эту пьесу в Константинополе или на Крите? Обо всем этом остается только гадать.

Другой сохранившийся сценарий, известный только в сирийском переводе, датируется концом V — началом VI в. Он основан на агиографическом сюжете. Особенно пикантно, что его герои — сами актеры (мимы) — чудесным образом становятся христианскими мучениками. Здесь примирение христианства с театром реализуется не только в факте использования театрального зрелища в интересах новой идеологии, но и в самой фабуле.

Вот сюжет этой пьесы. В Оксирихе при готском царе Игоре (лицо вымышленное, а ситуация ирреальная) на посмешище придворным мимы решили поставить комедию, осмеивающую христианские нравы. На сцене воздвигают церковь, алтарь, крест; актеры надевают епископское, священническое, диаконское облачения, начинаются рассуждения на богословские темы. Все эти речи — вопреки комедийному замыслу мимов — серьезны и ортодоксальны. Хотя комедия обещает издевательство над христианством, автор не осмеливается на пародийное изложение христианской догматики. По ходу пьесы актер, играющий епископа Главка, отправляет таинство крещения: шесть комедиантов подвергаются крещению в купели в соответствии с христианским обрядом.

И тут-то совершается чудо! Сила христианского таинства такова, что задуманная в насмешку церемония, вопреки плану комедиантов, выполняет свое мистическое назначение. Обряд, оказывается, действует автоматически, независимо от воли участников. Шестеро мимов не ожи-

данно для самих себя становятся христианами. Охваченные порывом благочестия, они припадают к кресту и творят молитву. Главк пытается урезонить братьев по ремеслу, но новое чудо заставляет и его оставить отеческую веру: натальный епископский крест, надетый актером в соответствии с ролью, внезапно начинает струить свет, и лучи его падают на принявших крещение, на «прозревших» актеров. Их примеру следует и Главк, и еще несколько человек, но другие мимы, оставшиеся язычниками, спешат к царю Игорю, чтобы донести ему о случившемся.

Как ни старается Игорь вернуть мимов-христиан к прежней религии, они не поддаются. Он обещает им деньги, он угрожает расправой — все напрасно. И тогда, разгневанный, он приказывает бросить новообращенных в узилище.

Конец стереотипен, соответствует агиографическому канону. Несмотря на чудеса, несмотря на то что множество людей вслед за обратившимися комедиантами принимает христианство, царь обрекает мимов на казнь. Но, испытавшие физическую смерть, они торжествуют, ибо в финале ангелы небесные спускаются на землю и уносят обезглавленные тела.

Предназначалась ли в самом деле эта мистерия, предполагавшая толпу действующих лиц, декорации, световые эффекты и сценические механизмы, к постановке? В каком помещении она должна была быть разыграна — на обломках античного театра, в храме или на городской площади? Кем были исполнители — церковными клириками или мирянами-любителями? Все эти вопросы, к сожалению, остаются без ответа.

Византийские драмы до нас практически не дошли. Одно из немногих исключений — стихотворная драма «Христос страждущий», рассказывающая о скорби Марии при сообщении о казни Иисуса и о ее ликовании после известия о воскресении сына. Время написания драмы остается спорным: ее датируют и IV, и XII в. В соответствии с этим дискуссионен и вопрос об авторстве (иногда автором «Христа страждущего» называют Григория Богослова). Несамостоятельная по материалу (драматург скомпоновал свое сочинение преимущественно из готовых стихов классических поэтов — Еврипида и некоторых других), пьеса эта построена в соответствии с эстетически-

ми принципами, характерными для византийской эпохи. Действия в драме практически нет, оно заменено лирическим комментарием к событиям; переход от одного состояния к другому, от скорби Марии к радости, совершается внезапно.

Таким образом, Византия, отвергнув античное «лицедейство», по существу не пошла далее полудраматизированных форм и не создала настоящего театра.

Изменения в характере театрального дела любопытным образом отразились на судьбе сценической терминологии. Греческое слово «трагудиа», генетически восходящее к классическому «трагодиа», стало обозначать стихотворение или песнь со светским сюжетом. Термин «драма» был перенесен на роман. Наконец, слово «комодиа» стало прилагаться к прозаическому рассказу: средневековые греческие книжники называли, например, «мирскими комедиями» сочинения баснописца Эзопа.

К античной древности восходила и другая форма устной политической и художественной информации — ораторское искусство. Красноречие было существенным элементом официальной государственной пропаганды, но вместе с тем византийские ораторы, унаследовавшие традиции своих римских предшественников, преследовали и чисто игровые задачи: в Византии по-прежнему ценились хитроумные риторические упражнения, софистические рассуждения на ничтожные темы, скажем о преимуществах человека, которого кусают насекомые, перед тем, от кого они отворачиваются с нескрываемым пренебрежением.

В какой-то мере риторика стала преемницей античного театра. Михаил Пселл, обращаясь с панегириком к императору Константину IX Мономаху, постоянно пользуется театральной терминологией. Император, по его словам, подобно утреннему солнцу, заливают лучами «театр» (так названо место, где оратор произносил речь), а самое выступление трактуется автором как «агон» — состязание, ибо античные театральные представления мыслились состязаниями драматургов и актерских коллективов. Только у Пселла агон — это соревнование писателя с его объектом, с государем, которого он превозносит, и поэтому заранее ясно, что ритору суждено быть побежденным в этой борьбе, а на долю победителя, василевса, выпадает триумф, празднование заслуженного успеха. И «театр», и

«агоп», и упоминаемые Пселлом «судьи» — все это обновленные словеса, термины, живущие независимо от своего привычного содержания, освобожденные от всех примет классической театральности.

Ораторское искусство использовала в своих интересах и церковь. Проповедь вошла составным элементом в христианское богослужение. Сперва она произносилась на литургии оглашенных, чтобы воздействовать не только на христиан, но и на колеблющихся, сомневающих, ищущих. Затем — по мере того как христианство охватывало все более широкие слои населения — проповедь отодвинули на конец службы, включили в литургию верных. Иоанн Златоуст объясняет это тем, что иначе большая часть публики покидала храм, не дождавшись конца литургии; народ приходил, оказывается, главным образом ради популярного проповедника.

Крупнейшие церковные ораторы IV—V вв., в том числе и Иоанн Златоуст, получили специальное риторическое образование у языческих учителей. Они впитали традиции античной элоквенции и на языческой литературной базе создали гомилии, остававшиеся на протяжении всей истории византийского красноречия образцами проповеднического искусства.

Предназначенные для публичного произнесения, речи тем не менее писались и издавались. Сохранились византийские сборники произведений ораторского искусства. Как и драма, речь жила своего рода двойной жизнью: она звучала с кафедры и фиксировалась в книге. И другие литературные жанры нередко доходили до своего читателя «со слуха»: вслух читали не только стихи или жития святых, даже такие интимные произведения, как письма, предназначались отнюдь не для индивидуального восприятия: при получении их читали друзьям, а авторы охотно публиковали сборники своих посланий. До нас дошло немало подобных сборников, где письма расположены в хронологической последовательности и снабжены леммами с указанием имени и чина адресата. Почитатели талапта Михаила Пселла собрали его письма, чтобы выпустить их в свет отдельной книгой, а век спустя Иоанн Цец опубликовал сборник своих посланий (часть которых, быть может, фиктивна, создана специально для сборника), снабженных обширным поэтическим комментарием. Даже Михаил Хониат, который осуждал творчество, рассчитанное

на то, чтобы угодить «толпе», подготовил для распространения сборник своих писем.

Византийцы, разумеется, воспринимали литературные памятники не только на слух, но и читали книги.

Что же они читали? Книгой книг была для них прежде всего Библия, и византийские библии сохранились до нашего времени во множестве копий. Среди них и полная Библия (греческий перевод Ветхого завета, так называемая Септуагинта, вместе с Новым заветом), наиболее древние экземпляры которой датируются IV столетием, и ее отдельные части (Восьмикнижие, Пророки, Четвероевангелие и т. п.), и, наконец, обособленные библейские книги (самой распространенной из них была псалтирь). Уцелели некоторые роскошные лицевые рукописи библейских книг, выполненные по специальному заказу, но есть и совсем простые, лишенные броских украшений.

Библия сопровождала византийца повсюду: на библейских псалмах он обучался грамоте, клятвой на Библии подтверждал справедливость своих слов, во время богослужения слушал отрывки из Библии, главным образом из евангелий и посланий апостольских.

Существовали специальные издания Библии для богослужебных целей, где текст был разорван на кусочки, предназначенные для чтения в церкви в определенные дни церковного календаря: так называемые Евангелие-апракос и Апостол.

Библия достигала византийского читателя и, если так можно выразиться, опосредствованно, через богословскую литературу. Будь то сочинения по экзегезе (толкованию) Библии, или догматические произведения (изложение принципов христианского вероучения), или полемические книги — против латинян, мусульман или еретиков, — или рассуждения об устройстве Вселенной (так называемые «шестодневы» и «физиологи»), авторы непременно возвращались мыслью к верховным своим авторитетам, к Ветхому и Новому заветам. Византийские мистики, наставлявшие читателя, как по духовной лестнице подняться до слияния с божеством, и византийские проповедники, бичевавшие пороки паствы, постоянно оглядывались на библейские притчи и библейские образцы. Библейские темы лежали в основе византийской литургической поэзии — песнопений, входивших как составная часть в церковное богослужение.

К библейским и «околобиблейским» книгам примыкает своеобразный раздел церковной литературы — агиографические памятники, жития святых. Это повести о мучениках, пострадавших за веру от руки языческих гонителей; и об аскетах, превративших свою жизнь в непрерывный подвиг во славу божью: о столпниках и затворниках; о нестяжателях, пренебрегших богатством и славой; о заступниках за сирых и убогих; о юродивых и провидцах, которым подчинялись стихии и к ногам которых смиренно ложились львы пустыни. Жития издавались отдельными книгами или же сборниками, которые получили свое название — «минологии» — от греческого слова «мин» (месяц), ибо в них агиографические памятники располагались, подобно евангельским чтениям в апракосе, по месяцам и дням церковного календаря, в котором каждые сутки были посвящены какому-нибудь святому.

Человек XX столетия оглядываясь в удивлении все это изобилие жанров церковной литературы, но ведь не приходится отрицать, что в жизни средневекового человека религия играла большую роль. Почти на все мировоззренческие вопросы византиец искал ответ в богословских книгах: здесь обнаруживал он и этический идеал, и учение о космосе, и сведения по антропологии — науке о человеке, и политико-экономические максимы, и прежде всего систему взглядов на бога и бесконечность, на смерть и бессмертие. Христианство было «всеобщим языком» Византии, как и всей средневековой Европы, и на этом языке говорила и официальная церковь, поддерживавшая государство, и еретическая антицерковная и антигосударственная оппозиция.

Но при всем том круг византийского чтения не сводился только к богословско-агиографическим памятникам, не они одни отвечали на вопросы любознательного читателя. В ходу оставались античные авторы: Гомер и Пиндар, трагики и Аристофан, историки и ораторы, Плутарх и Элиан. Византийцы читали, переписывали и комментировали греческих философов, математиков, астрономов, врачей, агрономов. Отвергая языческое мировоззрение, византийцы отнюдь не отвергли языческую книгу, а многие из образованных подданных василевса преклонялись перед античной литературой.

Собственная светская литература византийцев также представлена множеством жанров. Оставим в стороне на-

учную книгу, хотя в средние века грань между научной литературой и беллетристикой воспринималась как гораздо более расплывчатая, нежели ныне. Коснемся только того, что может быть названо художественной литературой.

Исторические сочинения в Византии, как и в античные времена, оставались и наставительным, и развлекательным чтением. Они были весьма популярны и весьма разнообразны по характеру и по форме. На одном полюсе всемирно-исторические хроники, начинающие повествование от сотворения мира и предлагающие читателю объективизированный эпический рассказ о торжестве христианского благочестия и карах для грешников. На другом — своеобразные мемуары, где автор охватывает обозримый период времени и подробно повествует о себе и своей роли в современных событиях. Тут и обширные компендиумы, и краткие (так называемые малые) хроники, и исторические книги в прозе и в стихах. Византийцы тянулись к прошлому, остро чувствовали связь прошлого с настоящим, и неудивительно, что именно в этом жанре достигли особенно интересных результатов. Об одном из одареннейших византийских историков, о Никите Хониате, мы уже говорили подробно.

Исторический факт служил материалом не только для летописи в собственном смысле слова, но и для так называемого энкомия, похвального слова. Энкомий по сути дела — двойник жития, только объект его не мученик и аскет, а император, полководец или даже писатель. Грань, разумеется, едва различима не только потому, что героем энкомия мог быть патриарх, а героем жития — полководец, но и потому, что в византийском похвальном слове светское лицо наделялось обыкновенно и светскими достоинствами (мужеством, разумом, красноречием), и христианскими добродетелями (благочестием, человеколюбием, смирением). Да и структура энкомия и жития во многом совпадала: и то и другое, к примеру, следовало начинать с рассказа о благородстве происхождения прославляемого героя и о достоинствах его родины.

Самых византийцев, впрочем, больше занимало отличие энкомия не от жития, а от исторического сочинения. «Я пишу историю, а не энкомий» — эту ставшую стандартной фразу мы встречаем у многих византийских историков. Различие обоих жанров особенно бросается в глаза

при сопоставлении двух сочинений, созданных одним автором. Один и тот же писатель одно и то же событие нередко освещает по-разному в хронике и в похвальном слове. Мы гадаем, в чем причина — в забывчивости или, может быть, в политическом конформизме, позволявшем легко менять убеждения. Признавая за византийскими писателями все человеческие слабости — и дурную память, и политическую непоследовательность, мы должны все-таки сделать известную скидку и на специфику жанра, на суровую требовательность литературного этикета. Официальная задача историографа, о которой он не забывает заявить в предисловии к своей книге, — истина, даже если он на практике и уклоняется от нее. Эпкомий же (по определению) — плод риторики, своего рода искусная литературная игра по наперед данным правилам, и объективное изложение событий никак не входит в программу эпкомиаста. По правилам игры и по законам жанра эпкомиаст должен превозносить своего героя, должен составить, как тогда говорили, каталог его добродетелей, и для прославления он пользуется, кстати сказать, довольно ограниченным, устойчивым набором приемов и образов.

Энкомий — одно из проявлений византийского риторического искусства. Наряду с ним была распространена монодия — речь, оплакивающая усопшего и тут же превозносящая его достоинства. Одним из вариантов монодии было утешительное слово, обращенное не к покойнику, а к его родне.

Византийской прозаической риторике соответствовали поэтические сочинения, составлявшиеся «на случай»: прославление подвигов, плачи по умершим, эпитафии, читавшиеся в связи с бракосочетанием, стихи на рождение ребенка, описания щедрых даров.

Отраслью византийской риторики была эпистолография, литература посланий. Византийское письмо отнюдь не только средство общения между близкими людьми, оно вместе с тем и художественное произведение, созданное по определенным правилам. Существовали образцы для составления посланий, издавались, как уже сказано, сборники писем.

Византийскую литературу неверно было бы представлять себе всегда сурово нахмуренной, наставительно-серьезной, поглощенной богословскими и этическими проблемами. Византийцы любили и острое слово, и грубую шутку.

Лукианом здесь возмущались, но вместе с тем ему подражали. Византийцы создавали в стихах и прозе сатирические сценки, героями которых могли быть монахи-обжоры, жалкий муж под каблуком своей жены, несчастный пациент в руках невежественного эскулапа. Сохранились и пасмешливые ямбы, и гневные памфлеты, поднимающиеся над уровнем критики бытовых пороков, — смех становился орудием борьбы разума против суеверий, честности против пресмыкательства и продажности. Византийская сатира нередко рядилась в образы животного эпоса, выливалась в басни об осле и лисице, в «поучительное повествование» о битве между хищниками и травоядными.

Византия, прославившая монашеское целомудрие, не пренебрегала и любовным романом — прозаическим или поэтическим повествованием о разлуке влюбленных и мучительных скитаниях их в поисках друг друга. Разумеется, читателю предоставлялась возможность аллегорически истолковать любовное томление и страстные объятия, о которых шла речь в романах, в духе аскетического благочестия, как символ устремления души к божеству. Образцом для такого толкования служила экзегеза к библейской книге «Песнь песней». Ведь и сам Христос в средневековой символике трактовался как небесный жених невесты-церкви.

Итак, византийцу было что читать. Конечно, придется сделать существенную оговорку. Если бы мы собрали все упоминания о блюдах, съеденных всеми византийцами за тысячу лет существования империи, они составили бы внушительный список — от вареной крапивы до журавлиного мяса. Но это, естественно, не значит, что трапезы каждого византийца были столь многообразными: в действительности большинство подданных константинопольского василевса довольствовалось хлебом, вареными овощами и рыбой, запивая все это виноградным вином. Примерно то же приходится сказать и о книгах: сохранился разнообразнейший круг литературных памятников и литературных жанров, но даже самый образованный читатель овладевал значительно более скромными сокровищами. Для большинства же грамотных византийцев было доступно совсем немного прежде всего из-за ограниченного числа византийских библиотек.

О высоком уровне библиотечного дела в античный период вряд ли нужно специально напоминать. Крупнейшие

библиотеки древности — александрийские Мусейон и Серапейон — насчитывали, по всей видимости, 500—700 тыс. томов.

Судьба александрийской библиотеки в IV—VII вв. недостаточно ясна. В общих чертах ее можно представить себе следующим образом. Мусейон пришел в запустение уже в III столетии, и научный центр переместился в Серапейон. В 391 г. фанатичная александрийская толпа, подстрекаемая патриархом Александрии Феофилом, разрушила Серапейон — языческое капище. Можно ли думать, что при этом уцелела библиотека, даже если считать, что она располагалась в боковых строениях храма? Если она и не сгорела (прямых известий об этом нет), то явно переживала упадок: христианский историк Орозий в начале V в. застал здесь пустые шкафы для книг. Начатое христианским фанатизмом довершил фанатизм арабских завоевателей: арабское предание рассказывает, что халиф Омар, заняв Александрию в 642 г., распорядился отнести корзины с книгами в александрийские бани и предать их огню; понадобилось шесть месяцев, сообщает Ибн аль-Кифти, чтобы их сжечь. Хотя предание это позднее и детали его вызывают сомнение, оно довольно стойко сохранилось в средневековой арабской литературе.

Итак, разрушение крупнейшей античной библиотеки стоит у порога византийской истории. Другие библиотеки, хотя и не пережили такой катастрофы, постепенно приходили в запустение. Во второй половине IV в. Аммиан Марцеллин, грек родом, ставший одним из самых значительных латинских писателей, скорбел о том, что библиотеки пустуют. Даже в таком крупном центре, как Антиохия, производство книг и книжная торговля в IV в. шли на убыль, и не приходится удивляться, что о функционировании антиохийской библиотеки в то время никаких сведений нет. Несколько столетий спустя Антоний, монах лавры св. Саввы в Палестине, живший около 600 г., составил «Пандекты» — сборник поучительных отрывков из Библии и церковных писателей. В предисловии Антоний объяснял, почему он взялся за такую задачу: «Пандекты» давали необходимый минимум сведений читателю, бессильному раздобыть полезные, но труднодоступные книги. Мы помним, что с наступлением средневековья книги подорожали, их стало меньше. Кроме того, изменился и состав библиотечных фондов, о чем свидетельствуют найденные

в Египте папирусные списки книг (иногда условно называемые каталогами), принадлежавшие, по всей видимости, частным лицам: если в «каталогах» III в. наличествуют только языческие авторы, то в VI—VIII вв. в библиотеках явно доминируют пророческие книги, жития святых и христианские легенды об аскетах.

Изменилась и манера чтения. Древние греки и римляне читали всегда вслух. В чтении оставался таким образом какой-то элемент публичности, даже если читатель был в это время один в комнате. Обыкновенно же, в том числе и в библиотеках, книги читали с друзьями, с учениками. Примерно к V в. выработалась привычка читать про себя, привычка к индивидуальному чтению, утверждению которой, возможно, содействовали монашеские порядки с их одинокими молитвами и одиноким чтением душеполезных книг.

В отличие от Западной Европы в Византии отнюдь не монастыри стали центрами сохранения культурного наследия. Монастыри кое-где имели свои библиотеки и изредка даже скриптории (особенно значительные, по-видимому, принадлежали столичному Студийскому монастырю в начале IX в., а позднее — афонским общежительным обителям), но в общем с византийским монашеством связывается скорее враждебное, чем доброжелательное отношение к античному наследию вообще и к книге в частности. Евстафий Солунский в XII в. резко порицал монахов за невежество и за пренебрежение книгами, за распродажу рукописных сокровищ. Сохранение элементов античной культуры было в Византии делом государственной власти и тесно с ней связанного слоя интеллектуалов, из среды которых выходили как светские администраторы, так и высшее духовенство: диаконы Константинопольского патриаршества и епископы.

Константинополь, который был средоточием школьного образования, также сыграл большую роль в сохранении греческой книги.

Оратор Фемистий в речи, произнесенной 1 января 357 г., прославляя Константия II (337—361) за организацию в столице скриптория, руководимого специальным архонтом, под началом которого состояло множество каллиграфов. Они содержались на государственный счет и должны были переписывать сочинения античных авторов, прежде всего Платона и Аристотеля; кроме того, Феми-

ствий упоминает Демосфена, Исократу, Фукидида, Гомера, Гесиода, некоторых философов. Это учреждение Фемистий ставит выше ипподрома и гаваней, рынков и бань. Деятельность скриптория предполагала существование библиотеки, откуда каллиграфы могли брать оригиналы для копирования и где сохранялись созданные ими манускрипты. Константинопольская публичная библиотека (основанная не Константином Великим, как это одно время предполагали, а его сыном Константином) пользовалась покровительством Юлиана, передавшего ей свои книги. В 372 г. император Валент (364—378) постановил, что в библиотеке должны трудиться четыре антиквария-грека и трое переписчиков латинских книг. В их задачу входило восстановление испорченных экземпляров. К 475 г. константинопольская библиотека насчитывала 120 тыс. томов. Даже если эта цифра не преувеличена, то все равно константинопольская библиотека значительно уступала по размерам фонда александрийской. Библиотека размещалась в ту пору в так называемой Царской Стое, т. е. в открытом, украшенном колоннами сооружении, на Форуме, неподалеку от императорского дворца.

В 475 г. константинопольское книгохранилище сгорело. Как скоро оно было восстановлено и в каком объеме, сказать трудно. Сохранилась легенда, будто Лев III не только закрыл столичное училище, но и сжег библиотеку, насчитывавшую свыше 36 тыс. кодексов.

Императорскую библиотеку, вероятно, надо отличать от публичного книгохранилища, созданного Константином. Она упоминается время от времени в поздних источниках: Лев V Армянин (813—820) читал в ней Сивиллино пророчество, в котором усматривали памяток на его царствование. В X в. Константин VII жаловался, что не всегда может найти во дворце нужные ему книги. Он старался расширить царскую библиотеку и организовал, по-видимому, специальный скрипторий для этой цели: в настоящее время можно выделить группу рукописей середины X в., происходящих из этого скриптория и содержащих сборники, составленные по приказу Константина VII. Прямое упоминание императорской библиотеки содержится в помете на Парижской рукописи 1115, переписанной в 1276 г. Там кратко сказано: «Хранилась в царской библиотеке». Эта помета, естественно, не старше конца XIII в. В это же время, в 1293 г., об императорском книгохранилище писал

в одном из писем Максим Плануд. К 1453 г., к моменту взятия города турками, царская библиотека еще существовала: Константин Ласкарь, двенадцатилетним юношей оказавшийся в турецком плену, упоминал, что он в свое время пользовался «библиотекой константинопольского императора».

Наряду с императорской и публичной библиотеками существовала и библиотека Константинопольского патриаршества, известная по крайней мере с VII в. В ней хранились по преимуществу церковные книги, в том числе и объявленные еретическими, только еретические надлежало держать отдельно от православных, в особых ящиках. Когда при императоре Феофиле (829—842) в ходе одного богословского диспута возник спор об истолковании какого-то пассажа в книге пророка Исаи, государь развернул свой экземпляр, но возражавший ему св. Феофан заявил, что текст в этом экземпляре испорчен, и потребовал, чтобы принесли книгу из патриаршей библиотеки, размещавшейся в Фомаитском триклинии. Патриаршая библиотека хранила, впрочем, не одни богословские сочинения: на манускрипте «Законов» Платона, переписанном около 900 г. (Ватиканская рукопись 1), читатель XI в. сделал ряд пометок, отмечая, что в патриаршей рукописи содержится иное чтение. Само по себе, кстати сказать, любопытное явление: византийский книголюб XI в. не просто читал античного философа, но и сличал один текст с другим. «Законы» Платона не единственный пример: на списке Софокла и Пиндара, переписанном в XIV в. (Ватиканская рукопись 1333), имеется помета: «Из патриарших [книг]»<sup>3</sup>.

Библиотеками должны были обладать и константинопольские высшие школы. Во всяком случае, в известной уже нам новелле Константина IX Мономаха об организации юридического факультета предусматривалось, что вивлиофилак, хранитель книг, будет выдавать студентам необходимые пособия.

О том, кому были доступны эти библиотеки, мы не имеем данных.

У византийского хрониста XIII в., которого обычно называют Феодором Скутариотом, имеется заметка, касающаяся образованного государя Феодора II Ласкаря (1254—1258), правившего в Никее, ибо Константинополь находился в то время в руках латинских завоевателей.

По свидетельству хрониста, Феодор II собирал книги по всем отраслям знания и отправлял их в провинциальные города для желающих читать. Не следует ли это понимать таким образом, что императорская библиотека в Никее открыла нечто вроде абонеента для иногородних?

Сохранилось довольно много сведений о библиотеках частных лиц — вельмож и иерархов. Лев Математик, профессор Магнаврской школы и архиепископ солунский, был обладателем значительной библиотеки, включавшей ряд сочинений античных ученых, в том числе Птолемея, Архимеда, Евклида.

Современник Льва — Фотий, один из образованнейших византийцев IX в., написал сочинение, названное «Мириобиблион» («Тысячекнижие») и известное также под условным заглавием «Библиотека». Время составления «Мириобиблиона» спорно, а происхождение загадочно. Во введении Фотий рассказывает, что он, уехав с дипломатической миссией на Восток, получил письмо от брата Тарасия, просившего сообщить ему о книгах, читанных Фотием во время путешествия; ответом на просьбу брата и явился «Мириобиблион». Преамбула, скорее всего, — романтическое измышление. Вряд ли мог Фотий, находясь за рубежом и будучи занятым ответственным поручением, ознакомиться почти с тремя сотнями рукописей, сделать из них обширные выписки и составить аннотации. Естественнее предположить, что «Мириобиблион» — плод его длительных занятий на родине (возможно и даже вероятно, в Константинополе), только облеченный в завлекательную рамку путешествия.

Как бы то ни было, перед нами первый средневековый опыт библиографического описания длинного ряда книг, античных и византийских, языческих и христианских, иные из которых, кстати сказать, ныне уже потеряны и известны лишь по Фотиеву пересказу. Писатель передает содержание прочитанной книги — то более, то менее пространно — и сообщает некоторые сведения об авторе; иногда аннотация включает собственные размышления Фотия и его критические замечки.

Довольно детальное представление мы можем получить о библиотеке, принадлежавшей Арефе, ученику Фотия и архиепископу Кесарии Каппадокийской. Она состояла по преимуществу из книг светского содержания,

среди которых были Афиней, Дион Хрисостом, Евклид, Лукиан, Павсаний, Страбон, Элий Аристид. Конечно, кесарийский архиепископ обладал и многими иными произведениями античной литературы, но и этот список свидетельствует о серьезности его интересов. Читал он внимательно и на некоторых манускриптах оставил свои замечания-схолии. Эти схолии позволяют увидеть, как образованный византиец читал старые книги, о чем он при этом думал. И вот что обнаруживается: в сочинениях античных классиков Арефа усматривал аналогии и аллюзии на события и отношения, свидетелем которых был он сам. В заметке на рукописи Элия Аристида Арефа касался победы, одержанной болгарскими войсками над византийцами, а «Харон» Лукиана наводил его на мысль о Стиллиане Заутце, тесте императора Льва VI (886—912), всемогущем временщике. «Как ты прав!» — писал Арефа по поводу морализаций Лукиана и с возмущением обрушивался на пороки своих современников. Но есть схолии и иного типа: Арефа полемизирует с античными авторами, упрекает Лукиана в клевете на богов, защищает христианство от Юлиана Отступника.

Деятельность таких библиофилов, как Лев Математик, Фотий и Арефа, а несколько позднее — работа скриптория Константина VII позволили собрать и переписать (новым — минускульным — письмом) значительное количество античных книг. Этим людям в первую очередь мы обязаны тем, что часть наследия Эллады дошла до нашего времени. Благодаря их трудам византийцы XI и XII вв. оказались в состоянии усвоить древнегреческую литературу.

Писатели XII в. хорошо знали сочинения античных авторов. Большим книголюбом был Евстафий Солунский, который комментировал Гомера, Аристофана и многих других писателей. О его ученике, Михаиле Хониате, митрополите солунском, известно, что в собранной им библиотеке стояли Гомер, Аристотель, Евклид, Фукидид, Гален. Один из самых начитанных эрудитов XII столетия Иоанн Цец жаловался, что ему пришлось распродать все книги и что после этого вся его библиотека размещалась у него в голове. И в самом деле, многие из приведенных им цитат и ссылок ошибочны, и, по-видимому, ошибки Цеца вызваны тем, что он не имел возможности проверить себя или же чересчур полагался на свою феноменальную па-

мать. Впрочем, многознайство византийцев XII в. подчас обманчиво: имена, которые они щедро обрушивают на своих читателей, далеко не всегда известны им, так сказать, из первых рук, а почерпнуты из всякого рода компендиумов, справочников и словарей — жанра, весьма популярного в средние века.

Любовь к книге и тяга к собиранию книг сохранялись и у поздневизантийских интеллектуалов. Подлинными библиофилами были такие писатели и ученые, как Максим Плануд, Феодор Метохит, Виссарион Никейский.

От частных библиотек, принадлежавших образованным вельможам и высшим духовным лицам, резко отличались монастырские библиотеки, в которых безусловно доминировала церковная литература: Библия, жития святых, богослужебные книги. Сохранился список рукописей, переданных в 1077 г. историком и юристом Михаилом Атталиатом основанному им монастырю в городе Редесто; он охватывает более 40 названий, среди которых лишь два — названия светских книг. Одна — историческое сочинение, написанное самим Атталиатом, а другая — так называемый «Сисмобронтологий», т. е. «Толкователь землетрясений и грома», своеобразное пособие для гаданий и предсказаний.

Об устройстве византийской библиотеки мы знаем немного. Позднеримская библиотека размещалась по преимуществу не в залах, а в открытых портиках, и даже владельцы частных собраний стремились придать им вид публичности; следуя моде, римские книговладельцы охотно выставляли свои богатства напоказ. Христианство же — первоначально запрещенная, гонимая религия — принесло тенденцию сберегать книги в потаенном, укрытом месте: в сундуках и ларях. Эта тенденция, по всей вероятности, усугублялась возросшей в средние века стоимостью книг.

Об архитектуре византийских библиотек мы практически ничего не знаем. Легенда о сожжении Львом III константинопольского книгохранилища называет это здание Октогоном и рисует его имеющим восемь портиков или перекрытых сводами камер, где могли бы храниться книги. Однако легенда фантастична: известно, что Октогон был разрушен в VI в., во время народного восстания, и с тех пор не восстанавливался. Попытки отождествить с библиотекой те или иные архитектурные комплексы

Константинополя оказываются безрезультатными. Зато мы имеем довольно подробное описание константинопольской библиотеки XV в., оставленное испанским путешественником Перо Тафуром, который побывал в Византии в 1437—1438 гг. Он посетил и константинопольский дворец во Влахернах, где неподалеку от входа, в мраморной лоджии, и размещалась библиотека. Она находилась, следовательно, уже не в Царской Стороне. Вдоль стен лоджии шли каменные скамьи, а столами служили плиты, положенные на невысокие подставки. Столы примыкали один к другому. В лоджии хранилось много книг. Тафур специально отмечает наличие «древних манускриптов и историй»<sup>4</sup>. Тут же, возле одной из стен, можно было видеть доски для игры, — вероятно, для игры в шахматы. Таким образом, библиотека служила и местом для тихих развлечений государя и его близких.

На Афоне под книгохранилища нередко использовались укрепленные башни, но, скорее всего, этот обычай вошел в употребление уже после падения империи.

В больших библиотеках книги снабжались шифром и расставлялись в соответствии с ним. Когда во время диспута с императором Феофилом иконопочитатель Феофан затребовал из патриаршей библиотеки книгу Исайи (об этом споре мы уже упоминали), он на память указал «фесис», т. е. место, где находилась нужная ему книга, — своего рода библиотечный шифр. На ряде рукописей (в том числе на рукописях, принадлежавших лавре св. Афанасия на Афоне) и по сей день можно видеть пометы, обозначающие шкаф (или полку) и место на полке. Комбинируя эти пометы, удастся подсчитать, что число книг лаврской библиотеки достигало тысячи. Возможно, книги на полках лежали, а не стояли: на эту мысль наводит расположение букв на корешках некоторых византийских рукописей.

Судьба византийских библиотек незавидна. Книжные сокровища Константинополя стали уплывать на Запад уже после 1204 г.: их увозили частично латинские завоеватели, частично же — особенно в XV столетии — греки, уезжавшие в Италию. Разгром 1453 г. сопровождался, разумеется, разрушением, сожжением, рассредоточением книгохранилищ. Итальянский гуманист Эней Сильвий Пикколесмини в письме к папе Николаю V от 12 июня 1453 г. оплакивает «вторую смерть Гомера, вторую кончину Пла-

топа» и восклицает: «Иссох источник муз!» Кардинал Исидор (в недавнем прошлом митрополит киевский), переживший ужасы турецкого завоевания и чудом сумевший бежать на Крит, говорит о гибели книг и исчисляет количество уничтоженных томов в 120 тыс. Сакраментальное число! Ведь именно столько книг, согласно преданию, которое, вероятно, было известно Исидору, погибло в Константинополе при пожаре 475 г. Но пусть не 120 тыс., — конечно, расхищено было множество: греческий историк Дука пишет о кораблях, увозивших книги, о груженных рукописями телегах, двигавшихся на запад и на восток, о том, что на мелкую монету можно было купить десять томов — Аристотеля и Платона, богословов и светских авторов, о том, что золото и серебро, украшавшее переплеты, безжалостно сдиралось, продавалось, выбрасывалось.

Частные книжные фонды в своем большинстве погибли. Кое-что сохранилось в монастырях. По-видимому, остатки императорской библиотеки были присвоены султаном. Во всяком случае, ученый и врач Доминико Иерусалимский видел в конце XVI в. в султанском дворце древние греческие книги, возводимые им ко временам Константина Великого, — книги огромного формата, переписанные золотыми чернилами на пергамене, тонком, как шелк, в переплетах, окованных серебром с позолотой и украшенных драгоценными камнями.

Византийские книги (их насчитывают 20—30 тыс.) рассеяны ныне по всему миру. Немало их и в советских собраниях — главным образом в Москве и Ленинграде. Из византийских библиотек пришли сюда сочинения греческих классиков, Библия, византийские тексты. Многие из этих сокровищ опубликовано, но далеко не все. Ежегодно трудолюбивые палеографы разыскивают и издают новые и новые тексты — новые источники по средневековой истории, памятники человеческой мысли. Книги, казалось бы давно потерявшие своего читателя, обретают нового — и какого внимательного! Новый читатель — исследователь. Он размышляет над каждой строкой, стремится восстановить истинный авторский текст, истолковать его и использовать его для воссоздания картины трудовой жизни, общественной борьбы и становления мысли Византии.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Глава 1

- <sup>1</sup> *Santifaller L.* Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter, Th. 1. Graz, Köln, 1953, S. 29, Anm. 22.
- <sup>2</sup> *Roberts C. H.* The Codex.— «Proceedings of the British Academy», 40, 1954, p. 169—204.
- <sup>3</sup> Цит. по ст.: *O. Dobiache-Rojdestvensky.* Quelques considérations sur les origines de l'écriture dite «gothique».— «Mélanges d'histoire du Moyen âge offerts à M. F. Lot». Paris, 1925, p. 699 sq.
- <sup>4</sup> *Гранстрем Е. Э.* Каталог греческих рукописей ленинградских хранилищ.— «Византийский временник», XVI, 1959, стр. 234.
- <sup>5</sup> *Rudberg S. Y.* Note sur une formule des colophons de manuscrits Grecs.— «Scriptorium», 20, 1966, p. 66 sq.

### Глава 2

- <sup>1</sup> *Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. Paris, 1971, p. 256 sq.
- <sup>2</sup> *Darrouzès J.* Epistoliers byzantins du X<sup>e</sup> siècle. Paris, 1960, p. 169.
- <sup>3</sup> *Browning R.* The Correspondance of a Tenth-Century Scholar.— «Byzantion», 24, f. 2, 1954 (1956), p. 413, № 54 (53).
- <sup>4</sup> *Ibid.*, p. 436, № 9.
- <sup>5</sup> *Безобразов П. В.* Византийский писатель и государственный деятель Михаил Пселл. М., 1890, стр. 122—181.
- <sup>6</sup> *Чичуров И. С.* Новые рукописные сведения о византийском образовании.— «Византийский временник», 31, 1971, стр. 241.
- <sup>7</sup> *Hunger H., Vogel K.* Ein byzantinisches Rechenbuch des 15. Jahrhunderts. Wien, 1963, S. 18, № 7; S. 36, № 43.

### Глава 3

- <sup>1</sup> *Nicetas Choniates.* Historia. Bonnae, 1835. Новое издание подготавливает Я.-Л. ван Дитен. Русск. перев.: *Никита Хониат.* История, ч. 1—2. СПб., 1860—1862.
- <sup>2</sup> См. о нем: *J. L. van Dieten.* Zur Überlieferung und Veröffentlichung der Panoplia Dogmatike des Niketas Choniates. Amsterdam, 1970.
- <sup>3</sup> Речи и письма Хониата изданы еще не полностью. Я.-Л. ван Дитен подготавливает их публикацию. На основе текста ван Дитена издад их немецкий перевод, выполненный Ф. Граблером: «Kaiser-taten und Menschenschicksale im Spiegel schöner Rede». Graz, Wien, Köln, 1966.

- <sup>4</sup> *Anne Comnène. Alexiade*, t. 3. Paris, 1945, p. 228. Цит. в пере Я. Н. Любарского: *Анна Комнина*. Алексиада. М., 1965, стр. 42 и сл.
- <sup>5</sup> *Март Ю. Н., Чайкин К. И.* Хакани, Низами, Руставели, вып. I Тбилиси, 1966, стр. 181 и сл.
- <sup>6</sup> Цит. по кн.: *Ф. И. Успенский*. Византийский писатель Никит Акоминат из Хон. СПб., 1874, стр. 38—40.
- <sup>7</sup> *Michel Psellos. Chronographie*. Paris, 1926—1928, t. 1, p. 134, 154 t. 2, p. 6, 58, 59.
- <sup>8</sup> *Robert de Clari. La conquête de Constantinople*. Paris, 1924, p. 2

## Глава

- <sup>1</sup> *Arethas. Scripta minora*, vol. I. Lipsiae, 1968, p. 204. Русск. перев М. А. Шангин. Византийские политические деятели первой половины X в.— «Византийский сборник». М.— Л., 1945, стр. 237.
- <sup>2</sup> *Vogt A. Etudes sur la théâtre byzantin*, I.— «Byzantion», 6, 193 p. 50.
- <sup>3</sup> *Wilson N. G. The Libraries of the Byzantine World*.— «Greek, Roman and Byzantine Studies», 8, 1967, p. 59.
- <sup>4</sup> *Vasiliev A. Pero Tafur, a Spanish Traveler of the Fifteenth Century, and his Visit to Constantinople, Trebizond, and Italy*.— «Byzantion», 7, 1932, p. 111 f.

## ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

### Книга

- Добиаш-Рождественская О. А.* История письма в средние века. М.—Л., 1936.
- Schubart W.* Das Buch bei den Griechen und Römern, 3. Aufl. Leipzig, 1961.
- Gardthausen V.* Griechische Paläographie, Bd. 1—2. Leipzig, 1911.
- Santifaller L.* Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter, Th. 1. Graz, Köln, 1953.
- Devreesse R.* Introduction à l'étude des manuscrits Grecs. Paris, 1954.
- Roberts C. H.* The Codex.—«Proceedings of the British Academy», 40, 1954.
- Irigoin J.* Les débuts de l'emploi du papier à Byzance.—«Byzantinische Zeitschrift», 46, 1953.
- Гранстрем Е. Э.* Уникальный период византийской письменности.—«Византийский временник», XXIX, 1968.
- Гранстрем Е. Э.* К вопросу о византийском минускуле.—«Византийский временник», XIII, 1958.
- Belting H.* Das illuminierte Buch in der spätbyzantinischen Gesellschaft. Heidelberg, 1970.
- Weitzmann K.* Die byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. Jahrhunderts. Berlin, 1935.

### Школа

- Преображенский В.* Восточные и западные школы во времена Карла Великого. СПб., 1881.
- Lemerle P.* Le premier humanisme byzantin. Paris, 1971.
- Browning R.* Byzantinische Schulen und Schulmeister.—«Das Altertum», 9, 1963, H. 2.
- Browning R.* The Correspondance of a Tenth-Century Byzantine Scholar.—«Byzantion», 24, 1954 (1956).
- Fuchs F.* Die höheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter. Leipzig, Berlin, 1926.
- Пигулевская Н. В.* История Нисибийской академии.—«Палестинский сборник», 17, 1967.
- Липшиц Е. Э.* Очерки истории византийского общества и культуры. VIII — первая половина IX века. М.—Л., 1961.

### Наука

- Vogel K.* Byzantine Science.—«The Cambridge Medieval History», vol. IV, p. 2. Cambridge, 1967.
- Théocharidès J.* La science byzantine.—«Histoire générale des sciences», vol. 1. Paris, 1957.
- Vogel K.* Der Anteil von Byzanz an Erhaltung und Weiterbildung der griechischen Mathematik.—«Antike und Orient im Mittelalter». Berlin, 1962.

*Temkin O.* Byzantine Medicine: Tradition und Empiricism.— «Dumbarton Oaks Papers», 16, 1962.

## Литература

- Krumbacher K.* Geschichte der byzantinischen Literatur. 2 Aufl. München, 1897.
- Beck H. G.* Geschichte der byzantinischen Volksliteratur. München, 1971.
- С. В. Полякова.* Византийские легенды как литературное явление.— в кн.: «Византийские легенды». Л., 1972.
- Tinnefeld F. H.* Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie. München, 1971.
- Любарский Я. Н.* Михаил Пселл, личность и мировоззрение.— «Византийский временник», 30, 1969.
- H. Hunger.* Die byzantinische Literatur der Komnenenzeit. Versuch einer Neubewrtung.— «Anzeiger der phil.— hist. Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1968.
- Я. Н. Любарский.* Исторический герой в «Хронографии» Михаила Пселла.— «Византийский временник», 33, 1972.
- Ф. И. Успенский.* Византийский писатель Никита Акоминат из Хон. СПб., 1874.
- Van Dieten J.-L.* Niketas Choniates. Erläuterungen zu den Reden und Briefen nebst einer Biographie. Berlin, New York, 1971.

## Театр

- Vogt A.* Le théâtre à Byzance et dans l'Empire du IV<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> siècle.— «Revue des questions historiques», 59, 1931, № 4.
- Vogt A.* Etudes sur le théâtre byzantin.— «Byzantion», 6, 1931.
- Piana G. La.* Le rappresentazioni sacre nella letteratura bizantina dalle origini al sec. IX. Grottaferrata, 1912 (Перепечатано: London, 1971).
- Wellesz E.* The Nativity Drama of the Byzantine Church.— «Journal of Roman Studies», 37, 1947.
- Velimirović M. M.* Liturgical Drama in Byzantium and Russia.— «Dumbarton Oaks Papers», 16, 1962.

## Библиотека

- Wilson N. G.* The Libraries of the Byzantine World.— «Greek, Roman and Byzantine Studies», 8, 1967.
- Schwartz J.* La fin du Sérapeum d'Alexandria.— «Essays in Honor of C. B. Welles». New Haven, 1966.
- Гранстрем Е. Э.* Два неопубликованных средневековых каталога.— В кн.: «Эллинистический Ближний Восток, Византия и Иран». М., 1967.
- Фонкич Б. Л.* Библиотека лавры св. Афанасия на Афоне в X—XIII вв.— «Палестинский сборник», 17, 1967.
- Беглери Г. П.* Библиотека византийских императоров в Константинополе.— «Сообщения Православного Палестинского общества», 1899, сентябрь-октябрь.

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН \*

- Аароний 55  
 Август 30, 31  
 Августин 21, 55  
 Авраам 124  
 Айохристофорит 115 сл.  
 Алдуин 89  
 Александр 58  
 Александр Македонский 93  
 Алексей I Комнин 48, 57, 63, 67 сл., 69, 85  
 Алексей II Комнин 84, 94, 96, 101, 108, 112  
 Алексей III Ангел 87, 93, 97, 108, 112, 116  
 Алексей IV Ангел 88, 113  
 Алексей Врана 90, 101, 109, 113  
 Амальрих Иерусалимский 114  
 Аммиан Марцеллин 135  
 Анна Комнин 48, 57, 63, 71, 102 сл.  
 Ангелы 89  
 Андроник I Комнин 84, 87 сл. 91, 93—96, 101—105, 107—109, 111—113, 115—118  
 Андроник Ватац 101  
 Андроник Комнин 71  
 Андроник Кондостефан 91, 114  
 Ансельм Кентерберийский 55  
 Антихрист 95  
 Антоний 135  
 Анфимий 79  
 Аполлоний 80  
 Аполлоний Тианский 120  
 Арефа Кесарийский 18, 120, 122, 139 сл.  
 Аристотель 10, 74, 136, 140, 143  
 Аристофан 38, 51, 121, 131, 140  
 Архилох 66  
 Архимед 80, 139  
 Асень 112, 117  
 Афанасий Афонский 24, 56, 142  
 Афина 92  
 Афиной 140  
 Ахилл 64  
 Аякс 30  
 Балдуин Фландрский 105  
 Бенедикт из Питерборо 115  
 Берта Зульцбахская 55  
 Бертрандон де ля Броклер 125  
 Боэций 55  
 Валент 137  
 Вальсамон 44  
 Варда 62 сл.  
 Васаки 87, 92  
 Василий II 40, 63  
 Василий Великий 11, 59, 80  
 Василий, богомил 102  
 Ватац 101  
 Ватацы 98  
 Велисариоты 85  
 Вергилий 15  
 Виссарион Никейский 141  
 Габин 14  
 Гален 15, 78, 140  
 Генрих VI 101  
 Генрих Константинопольский 85  
 Георгий, святой 64  
 Георгий Кедрин 16  
 Георгий Схоларий 72  
 Георгий Торник 69  
 Георгий Хировоск 52, 61  
 Геракл 83

---

\* Указатель составлен И. С. Чичуровым. Имена, упоминаемые в примечаниях, в указателе не приводятся.

- Геродот 14  
 Гесиод 51, 137  
 Гийом Тирский 115  
 Гиппократ 15, 78  
 Главк 126сл.  
 Гомер 15, 31, 39, 43, 49, 51, 63, 66, 95 сл., 108, 124, 131, 137, 140, 142  
 Григорий I 14, 22, 32  
 Григорий V 52  
 Григорий Антиох 68  
 Григорий Богослов 41, 52, 59, 127  
 Григорий Нисский 79 сл.  
 Давид 47, 90, 93, 111, 117  
 Демосфен 16, 52, 137  
 Дигенис Акрит 120  
 Димитрий Кидонис 55  
 Диоклетиан 15  
 Дион Хрисостом 140  
 Дионисий 122, 124  
 Дионисий Ареопagit см. Псевдо-Дионисий Ареопagit  
 Дионисий Фракиец 51сл.  
 Диоскорид 32  
 Диофант 80  
 Доминико Иерусалимский 143  
 Дука 143  
 Ева 124  
 Евклид 80 сл., 139сл.  
 Евмен II 15  
 Еврипид 16, 31, 51, 121, 127  
 Евстафий Солунский 14, 30, 68сл., 85, 136, 140  
 Евстратий Никейский 67  
 Евтокий 28  
 Епох 28  
 Ефрем Сирин 31сл.  
 Зантифаллер Л. 16  
 Зосим 121  
 Ибн аль-Кифти 135  
 Иванко 112  
 Игнатий 54  
 Игнатий Смоленский 125  
 Игорь 126сл.  
 Иезекииль 90  
 Иероним 17  
 Иисус Христос 57, 93, 122—124, 126 сл., 134  
 Илья Новый 47  
 Иоанн II Комнин 71, 85, 87, 97  
 Иоанн XV 52  
 Иоанн X Каматир 70  
 Иоанн Камматир 113  
 Иоанн, евангелист 28, 126  
 Иоанн, брат Николая Месарита 57  
 Иоанн 52  
 Иоанн Айофеодорит 95  
 Иоанн Апотир 87  
 Иоанн Дамаскин 51, 53, 72—74 81  
 Иоанн Дука 87  
 Иоанн Златоуст 57, 59, 121сл., 124, 129  
 Иоанн Зонара 103  
 Иоанн Итал 67  
 Иоанн Киннам 86, 98, 103  
 Иоанн Комнин Толстый 101  
 Иоанн Кондостефан 87  
 Иоанн VIII Ксифилин 66  
 Иоанн Мавропод 64, 66  
 Иоанн Путцийский 97  
 Иоанн Спиридонали 97  
 Иоанн Филопон 79  
 Иоанн Цец 30, 54, 129, 140  
 Иов 111  
 Иосиф 125  
 Иосиф Вриенний 72  
 Ираклий 62  
 Ирина, императрица 34  
 Ирина, жена Алексея I Комнина 48  
 Ирина, вдова Андроника Комнина 71  
 Исаак I Комнин 110  
 Исаак II Ангел 84сл., 87—90, 93, 95, 102, 108сл., 113, 115—118, 125  
 Исаак 124  
 Исайя 138, 142  
 Исидор 142сл.  
 Исидор Севильский 28  
 Исидор Пелусиот 124  
 Исократ 137  
 Калигула 30  
 Каломодий 91, 112  
 Кантакузины 98  
 Карл Великий 79  
 Карп 12  
 Касия 48  
 Кассиодор 12, 60  
 Катон 55  
 Катулл 16

- Клингсор 71  
 Комит 63  
 Кондостефаны 98, 114  
 Конрад Монферратский 88, 90сл., 99, 109  
 Констант — см. Михаил Пселл  
 Константин II 136сл.  
 Константин I 61, 137, 143  
 Константин VI 34  
 Константин VII 49, 63, 137, 140  
 Константин IX Мономах 23, 63сл., 66, 110, 128, 138  
 Константин X Дука 110  
 Константин XI Палеолог 5  
 Константин Дука 88  
 Константин Ласкарь 138  
 Константин Лихуд 66  
 Константин Манасси 70  
 Константин Трипсих 93  
 Константин Философ 48  
 Константин Хониат 83сл.  
 Косьма Индикоплов 32, 78, 80  
 Кронос 87сл.  
 Кылич-Арслан II 87  
  
 Лазарь 69, 126  
 Лев III 62, 137, 141  
 Лев V Армянин 137  
 Лев VI 44, 140  
 Лев, писец 30  
 Лев Математик 62сл., 81, 139 сл.  
 Лев Синадский 52сл.  
 Лев Хиросфакт 122  
 Левий 83  
 П. Лемерль 49, 62  
 Ливаний 59  
 Лука, евангелист 13, 23, 29  
 Лукиан 38, 134, 130  
  
 Максим Плануд 17, 55, 71сл., 138, 141  
 Мамал 88, 102  
 Мануил I Комнин 55, 71, 87 сл., 90сл., 94—99, 103—109, 113сл., 118  
 Мануил Камица 110  
 Мария, богородица 124сл., 127сл.  
 Мария, сестра Лазаря 126  
 Маркел 58  
 Марфа 126  
 Марциал 10, 15  
 Марциан Капелла 31, 50  
  
 Матфей, евангелист 29  
 Менаандр 15 сл., 66  
 Меровинги 13  
 Мехмед II 5  
 Михаил II 44  
 Михаил III 63  
 Михаил, ппат философов 67  
 Михаил Архангел 113  
 Михаил Атталиат 23, 141  
 Михаил Италик 68сл.  
 Михаил Пселл 44, 47сл., 51, 53, 63, 66 сл., 74, 79, 81, 110, 118, 128сл.  
 Михаил Стрифн 116  
 Михаил Хониат, митрополит 83—85, 129, 140  
 Михаил Хониат 83 сл.  
  
 Навуходоносор 125  
 Никита Мундан 87  
 Никита Хониат 43, 70, 82—119, 125, 132  
 Никифор II Фока 95  
 Никифор, патриарх 54  
 Никифор Василиаки 68  
 Никифор Влеммид 81  
 Никифор Вриенний 48  
 Никифор Григора 72, 80  
 Никифор Милетский 49  
 Никифор Хрисоверг 68  
 Николай V 142  
 Николай, писец 36, 39  
 Николай Месарит 57, 69сл.  
 Николай Мирепс 78  
 Никомах 80  
 Нонн Панополитанский 22  
  
 Овидий 15, 55  
 Омар 135  
 Орозий 135  
  
 Павел, апостол 12, 18, 68, 99  
 Павсаний 140  
 Палеологи 98  
 Перо Тафур 142  
 Петр, святой 68  
 Петр Ключинский 13 сл.  
 Пиндар 51, 131, 138  
 Платон 136, 138, 142сл.  
 Плиний Старший 9, 15  
 Плутарх 131  
 Подарон 44  
 Полибий 75  
 Порфирий Успенский 34—36, 39

Поф 18  
Прокл 54  
Псевдо-Алексей 101  
Псевдо-Днионисий Арсепанит  
32, 36, 77  
Птолемей 32, 80, 139  
Пупак 107

Роберт де Клари 115сл., 125  
Робертс К. 20  
Рожер Сицилийский 113  
Роман Сладкопевец 124сл

Савва 135  
Сарра 124  
Светоний 19, 30  
Север 10  
Сенека 19  
Септимий Север 120  
Симеон 83  
Симеон Богослов 50  
Симеон Сиф 78сл.  
Симеон Солунский 125  
Синесий 59  
Сотирх 67  
Софокл 51, 121, 138  
Софроний Иерусалимский 125  
Стефан Александрийский 62  
Стефан Неманя 106, 112  
Стефан Сурожский 60  
Стилиан Заутца 140  
Стилихон 121  
Страбон 31, 140  
Сципион 55

Тарасий 139  
Тарквиний Гордый 14  
Тафур см. Перо Тафур  
Теодорих Остготский 28  
Тибулл 16  
Тимофей 12  
Тит Лифий 15  
Тифон 87сл.

Ульпиан 20  
Успенский, см. Порфирий Успенский

Фабриано 26  
Феб 56  
Фемистий 136сл.  
Феодигий 63

Феодор I Ласкаръ 85, 88  
Феодор II Ласкаръ 138 сл.  
Феодор Ангел 88  
Феодор, святой 68  
Феодор Кантакюзин 101  
Феодор Кастамонит 87, 117  
Феодор Метохит 81, 141  
Феодор Продром 53  
Феодор Скутариот 138  
Феодор Студит 36  
Феодора, жена Юстиниана I 122

Феодора, императрица 110  
Феодора, святая 68  
Феодосий I 121  
Феодосий II 20 61, 64  
Феодосий, патриарх 111  
Феодосий, монах 18  
Феодосия 5  
Феокрит 51  
Феофан, святой 138, 142  
Феофан, хронист 103, 112  
Феофана Продолжатель 49  
Феофил, император 48, 62 сл., 138, 142  
Феофил Александрийский 135  
Феофраст 8  
Филагат 53  
Филострат 120  
Форма Аквинат 55  
Фотий 63, 80, 139 сл.  
Фридрих I Барбаросса 85, 87, 99сл., 103  
Фукидид 16, 137, 140

Хорикий Газский 122

Цезарь 19, 55  
Цицерон 15, 55

Эгидий 60  
Эзоп 128  
Эйнгарт 79  
Элиан 131  
Элий Аристид 140  
Эндимион 93  
Эней Сильвий Пикколомини 142  
Энрико Дандоло 88  
Эсхил 51, 121

Юлиан Отступник 121, 137, 140  
Юстиниан I 20, 60сл., 65, 122

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог	5
Глава 1. От пашпруса до буквы	7
Глава 2. От буквы до знания	43
Глава 3. От знания до творчества	82
Глава 4. От творца к читателю	120
Примечания	144
Основная литература	146
Указатель имен	148

---

*Александр Петрович Каждан*  
**КНИГА И ПИСАТЕЛЬ В ВИЗАНТИИ**

*Утверждено к печати  
редколлегией серии  
научно-популярных изданий  
Академии наук СССР*

Редактор Н. В. Шевелева

Художественный редактор В. Н. Тихунов

Художник В. К. Бисенгалиев

Иллюстрации подобраны И. С. Чичуровым

Технический редактор Ф. М. Хенох

Сдано в набор 11/XII 1972 г.

Подписано к печати 20/III 1973 г.

Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 2.

Усл. печ. л. 7,98. Уч.-изд. л. 8,2

Тираж 28 500. Т-05308. Тип. зак. 1492

Цена 50 к.

Издательство «Наука». 103717 ГСП,  
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
2-я типография издательства «Наука»  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер.,

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«НАУКА»

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

КНИГА:

Про

Гл

Г

ДЬЯКОНОВА Н. Я.

Китс и его современники.

8 л. 55 к.

В книге рассказывается о жизни и творчестве Джона Китса, великого английского поэта первой четверти XIX в., современника Байрона и Шелли. Основные черты поэзии Китса — его протест против тирании и ханжества, его влюбленность в жизнь и искусство — рассматриваются во взаимодействии с идейно-художественными течениями в литературе английского романтизма. Основная часть книги посвящена эволюции творчества Китса, от его юношеских опытов до блестящих успехов последнего творческого года его жизни. Дается художественно-стилистический анализ его стихов и поэм. В книге помещены стихи Китса

в переводах советских поэтов.

Рассчитана на широкого читателя.

Адреса магазинов

«Академкнига»

Алма-Ата, ул. Фрунзе, 10;  
Баку, ул. Джапаридзе, 10;  
Владивосток, пр. Гагарина, 10;  
Петровск, проспект Гагарина, 10;  
Шанбе, проспект Ленина, 33;  
Ул. Лермонтова, 33;  
Ул. Ленина, 42; Кишинев, ул. Куйбышев, проспект Ленинград, Д-120, Литейный Ленинград, Менделеев Ленинград, 9 линия, 16;  
Горького, 8; Москва, 55/7; Новосибирск, Морской проспект, 22; 91, Красный проспект, 5; ул. Мамина-Сибиряка, Л-29, ул. Ленина, 73; Шота Руставели, 43; То Ушайки, 18; Уфа, Ко ул., 49; Уфа, проспект Фрунзе, бульвар Дзержинского; Харьков, Уфимский пер.

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА